

Вещь

1(5)/2012

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Поэзия

Павел Чечеткин

Владимир Лаврентьев

Екатерина Симонова

Проза

Леонид Юзефович

Владимир Киршин

Киносценарий

Алексей Лукьянов



Вещь

1(5)/2012

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ



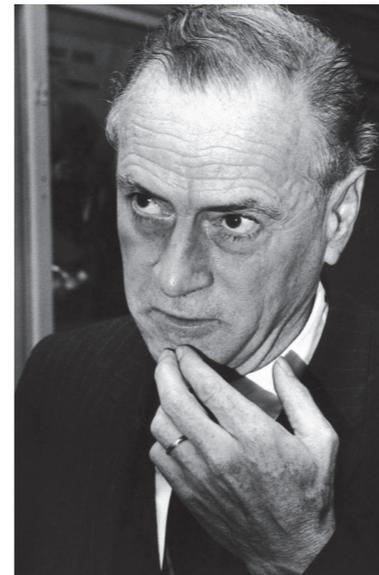
ПЕРМЬ 2012

Содержание

- 3Маршалл Маклюэн *Афоризмы (перевод Сергея Тетерина)*
- 7Павел Чечеткин *В медном клюве простуженной галки (стихи)*
- 11Леонид Юзефович *Филэллин (отрывок из нового романа)*
- 18Владимир Лаврентьев *Где невозможно долго жить (стихи)*
- 23Владимир Кишин *Гарибальди Весельчак (рассказ)*
- 32Екатерина Симонова *Два цикла из новой книги стихов «Время»*
- 43Алексей Лукьянов *Миленский (киносценарий)*
- 68Сергей Крюков *Jeanne (повесть)*
- 78Александра Шилева *Праздник (стихи)*
- 80Ян Кунтур *Бер блет (путеводитель по пермской «системе»)*
- 90Владислав Дрожащих *Маятник на бреющем полете над Камой (история литературных разборок)*
- 96Иван Козлов *Рифмы с пространством (визуальная поэзия)*
- 100Сергей Сигерсон *Опыт построения арт-коммуны на отдельно взятом болоте (полемика)*
- 107Екатерина Симонова *Способы хранения сновидений (о книге Аркадия Застыльца «Онейрокритикон»)*
- 112**Ольга Роленгоф, Ольга Ловцова, Семен Ваксман, Марта Шарлай, Юрий Асланьян, Светлана Ворошилова**
Рецензии («Genius loci», «Поэты Урала», «Антология. Современная уральская поэзия», «Были съёмка и поиски», «В кварталах дальних и печальных», «Фоторамка на забытой стене», «Черемуха и церковь»)
- 123Программа Пермской книжной ярмарки (20-21.06.2012)
- 125Авторы номера

Коротко

Маршалл Маклюэн
Афоризмы



Российская библиотечная ассоциация объявила город Пермь «Библиотечной столицей России-2012». Из пресс-релиза: «Это событие является значимым не только для библиотек Прикамья, но и для всех жителей Пермского края, чей профессиональный, творческий и личностный рост неразрывно связан с книгой и миром информации». «Вещь» решила отметить событие публикацией афоризмов Маршалла Маклюэна – выдающегося канадского культуролога, теоретика и философа новых медиа, открывшего принципиально новый взгляд на природу и сущность влияния технологий.

Афоризмы публикуются в переводе пермского медиахудожника Сергея Тетерина, организовавшего сайт <http://www.mcluhan.ru/>, посвященный одному из самых харизматичных, спорных и оригинальных мыслителей нашего времени, который признан как «отец медиа-коммуникаций» и «пророк информационного века».

Способ передачи сообщения уже сам по себе является сообщением.

В эти электрические времена мы одеваемся в человечество как в нашу кожу.

Истинная правда: нас делает то, что мы сами делаем в столкновениях с миром.

На Космическом Корабле «Земля» нет пассажиров — есть только члены команды.

Изобилие порождает нищету.

Образование — это самозащита общества против вреда, который приносят медиа.

Моральная точка зрения — это суррогат, заменитель для понимания сути технологических перемен. Кто не может понять, начинает морализировать.

Язык, речь, слова делают для ума то же самое, что колеса делают для ног.

Только маловажные секреты нуждаются в сокрытии. Главные достижения мысли прекрасно защищены общественным недопониманием.

Быстрота и решительность помогают вовремя признать виновного виновным — но по-настоящему справедливое правосудие нуждается в медлительности.

По телефону и телевизору передают не столько сообщения, сколько тех, кто их «отправляет».

Наличные деньги — это кредитная карта бедняка.

Мы видим сегодняшний день через зеркало заднего вида. Мы пятимся назад в будущее.

Изобретение своим появлением порождает необходимость в себе.

Автомобиль стал защитным панцирем для каждого — кто живет в городе, и в пригородах.

На самом деле люди не читают газет. Они залезают в них каждое утро как в горячую ванну.

Дорога — это наша главная архитектурная форма.

Сегодня каждый из нас проживает несколько веков за десять лет.

В наше время бизнесом бизнесов становится непрерывное изобретение новых бизнесов.

Цена за нашу вечную бдительность — безразличие.

Любая реклама рекламирует рекламирование.

Специалист — это тот, кто не делает ни малейшей ошибки во время движения к огромным заблуждениям.

Политика всегда предлагает нам вчерашние ответы на вопросы дня сегодняшнего.

Линия судьбы

С моей ладони линия
Ведёт за горизонт.
Над нею — бездна синяя,
Под ней — грошовый понт.

И снова под раздачу я
Попавший,

так и сяк
Дразню судьбу незрячую,
Вертя ладонь горячую,
Не сжатую в кулак.

Представь себе: мы стали словно боги,
Познавшие добро и зло,
В терновый куст сплетая руки, ноги
И всё, что кромеросло.

Лежим во тьме.
Как тихо и взаимно!
Но вот уже очнувшись власть
В глухих раскатах утреннего гимна
Адама гонит сеять,
Еву — прясть.

Чудеса

Из дальних стран приехавший факир
Крутил на сцене жалом чёрной трости.
Он кролика запихивал в цилиндр
И высыпал обглоданные кости.

Он выпускал синицу, делал взмах —
И в воздухе шуршало оригами.
А части тел распиленных девах
К антракту громоздились штабелями.

А полный зал подданных заводчан,
Подъевших все банкетные тефтели,
Томился, выразительно молча
О тёмных планах праздничной недели.

Лишь впереди заботливый отец
Всё утешал испуганного крошку,
Что каждый раз — хоть с магией,
хоть без —
Но всяко был игрушечный разрез,
И мама умирала понарошку.

Мышь

Малютка-мышь вошла в наш дымный быт
И быстро носит тельце по конторе,
Как Одиссей промежду трёх Харибд,
Скрывающих тела в бумажном море.

И расчехлив двустволки красных глаз,
Мы со столов, как будто с гнёзд орлиных,
Глядим, как мышь свершает свой намаз
Перед оградкой мусорной корзины.

Теперь, её добро снося во двор
И в бак переворачивая донце,
Я чувствую в душе своей укор,
Достойный од отзывчивого Бёрнса.

С тех пор уже распаханы века,
Но плуг людской всё также остр и тяжок
И беспокоит нищего зверька
В клубках его промасленных бумажек.

Наивный живчик, что он потерял
В глухой норе, где распушив вибриссы,
Едят рокфор и льют коньяк в бокал
Три жадных канцелярских крысы?

Те смотрят вслед, не чувствуя стыда,
И вторя стуку маленьких подковок,
Твердят под нос, что надо бы kota
Да сальца прикупить для мышеловок.

Но мышь глядит на всё как на игру,
Перебирая лапками в мажоре.
...Наш слесарь Митрич нынче поутру
В кладовке раскопал её нору
И разглядел песок,
лазурь и море.

Порою такая приснится фигня
Среди беспробудных морозов:
Я в тесной ложбине купаю коня,
И конь восхитительно розов!

Хочу оседлать набегающий вал,
Но быстро теряю поводья
И падаю в пустошь сухих одеял
Из теплого половежья.

А после, наутро, глотая слюну,
Верчу телефонную миску,
Ища то свою, то чужую жену,
То дальше и дальше по списку....

Переезд

В этом доме прошли мои лучшие годы.
Посидеть бы чуток, да не стоит труда.
То ли дело, когда выселяли народы,
И в теплушках на пустошь везли города.

Под солёные байки соседа напротив,
Что так скрадывал будни всему этажу;
Без полных звонков,
без пробежек в исподнем, —
Нет, я правда счастливчик, что так ухажу.

Хорошо, что вокруг так доступно и близко
Есть вокзалы, где рвут под уздцы поезда.
Может, в сказочных окнах
«Очёр–Сан-Франциско»
Отразится моя путевая звезда.

Поседевший жокей телеграмм и открыток
Ранним утром, у нижних дверей семеня,
Будет дёргать пучок электрических ниток,
Но уже никогда не разбудит меня.

Может, это и есть путь
с колдовской чужбины
Под бессонное солнце всех дальних Итак?
Ни занудных речей,
ни плевка тебе в спину, —
Я и правда счастливчик, что можно вот так.

Находка

В сухом леске, где пижма и полынь
Дурманят дух, как вскрытая аптека,
Я встретил жарким вечером, прикинь,
В траве лежащий череп человека.

Нет, ты прикинь, теперь, когда экран,
Со вкусом скаля ровненькие зубки,
Без остановки жарит свой канкан
Привычной до зевоты мясорубки —

И этот череп, строгий и простой,
Стократ страшней любого киношока,
В тени деревьев, вставших на постой
У бьющего в ложбине водотока.

Откуда он? И где его скелет,
Лежащий где-то высохшей коростой
Тех страшных девяностых?
Даже нет —

Всех наших бесконечных девяностых?..

За что его отправили в распыл?
Какою ложью мент замазал графы?
И кто родня?

Иль кто роднёю был,
Пока читалась надпись кенотафа?

И что теперь?.. Ментовку? Журналуг?
Зарыть его в песок воспоминаний,
Чтоб бедолаге муза, как паук,
Соткала плат из стихотворной ткани?

А может, даже новое лицо?..
Тот чует мои жалкие уловки
И цедит желчь расколотых резцов
В гримасе не шекспировской издёвки.

Рассвет

Я руки свои раздуваю как трут.
О, как нам наскучила пьянка!
И шутки подмокли,
и рыбы всё врут,
Лениво мусоля овсянку.

В наломанных ветках костёр у земли
Трепещет как раненый заяц.
«Рассвет» — написал бы какой-нибудь Ли,
Простой лаконичный китаец.

А нам надо горы держать на слуху
В надрыв болевого порога;
Садиться на кортки и портить уху
Цитатой из позднего Блока.

У Босха что ни персонаж —
То харя между ног.
Я с детских лет его — шабаш! —
Смотреть уже не мог.

Но в жизни стоит шаг шагнуть —
Знакомый колорит:
И чёрт не скажет, что за муть
С тобою говорит.

Порою хочется вскричать:
– Ты ваньку не валяй!
Сними штаны, ядрёна мать,
Откройся, Гюльчатая!

А то так портят твой анфас,
Коптя твою труху,
Сухие свечки злющих глаз
В той тыкве наверху!

Пошутили неудачно —
Неужели с этого
Рыцарь Ваш сегодня мрачный,
Ультра-фиолетовый?

В щели стёкол бесполезных
В эпилоге повести
Он с ослёнка смотрит в бездну
Дьявольской серьёзности.

Памятник Кудым-Ошу

Тяжкий образ Кудым-Оша,
Ты продавишь переплёт,
И растянется под ношей
Твой подрубленный народ!

Посреди базарной свалки
Подскочил и встал шырём
С этой неподъёмной палкой,
Да с медведицей-весталкой,
Да с совой-поводырём!

Всё стоит, глядит, насупясь,
Сжав рукой железный дрын,
Как течёт людская супесь
На позор его седин;

Как под хрупким небом Пармы,
Бодро выстроившись в ряд,
Пятьэтажные казармы
По-турецки говорят;

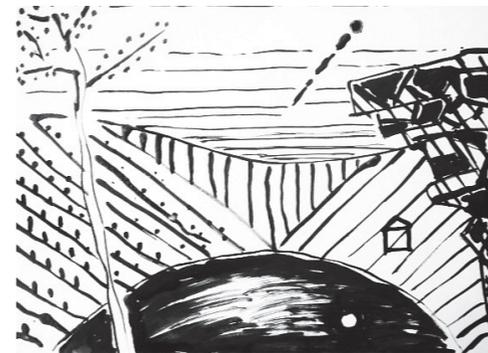
И упёрши локти в сальник,
Без стеснения делят мир
Неподъёмных прав качальник
И качалок командир;

Как, рисуясь перед бабой,
Круглолицый сорванец
Лезет с мордой виноватой
По царевне косолапой
На святой её крестец.

Проза / Отрывок из романа

Леонид Юзефович

Филэллин



Новый роман Леонида Юзефовича «Филэллин» будет посвящен Греческой революции 20-х годов XIX века и отношению к ней русского общества. Роман написан в форме писем, дневников, записок и других вымышленных документов. Эпиграфом к роману автор взял фразу из письма М.М. Сперанского к дочери Елизавете от 16 августа 1823 г.: «Время — большой чародей: то выше леса, то ниже травы».

Ниже — письмо секретаря Александра I, отправленное из Таганрога в декабре 1826 года.

Сосени здоровье Елизаветы Алексеевны вновь ухудшилось, доктор Вилье рекомендовал ей провести зиму во Франции, Италии или на юге России. Государь выбрал Таганрог и объявил, что непустит ее туда одну. Летом началось их примирение, супруги вновь сблизились. Она простила ему Марию Нарышкину, он ей — красавца-кавалергарда Охотникова, ночью зарезанного

на улице неизвестными людьми; говорят, их подослала к нему вдовствующая императрица, заботясь о чести сына. Сам он, как все люди с тонкой душой, в этом смысле был к ней безразличен.

Мужчины сильнее ревнуют к прошлому, чем женщины, но Елизавета Алексеевна пережила убийство любовника и знала, что к этому приложила руку свекровь. Одно

стоило другого, под гирями разного металла, но одной тяжести уравнились чаши весов. Супруги часто навещали могилу их общей дочери, вместе побывали на могилах Софьи Нарышкиной и той девочки, которую императрица родила от Охотникова, хотя эта ее дочь похоронена рядом с отцом, над ними водвигнут общий памятник в виде расщепленного молнией дуба с младенцем между корнями.

Утром 1-го сентября, отстояв раннюю службу в соборе Александро-Невской лавры, государь покинул столицу. Он собирался быть в Таганроге раньше жены и приготовить дом к ее приезду, чтобы она с первого дня ни в чем не терпела неудобств. Его сопровождали камердинер, Курталиди и я. Остальная свита, в том числе Тарасов и Вилье, должна была выехать вместе с Елизаветой Алексеевной.

У заставы государь сказал Илье остановиться, привстал в коляске и долго смотрел на затянутый утренней дымкой спящий город. Не скажу, что уже тогда мне пришла мысль, что он прощается с ним навсегда, но иначе я не могу объяснить выражение бесконечной печали в его взгляде. Было ли это предчувствие близкой смерти? Или в нем созрело решение сложить с себя бремя власти, и он знал, что никогда не вернется в Петербург? Не знаю, и никто не знает, но если верно второе, не последнюю роль сыграл в этом греческий вопрос. Государь предпочел оставить его на совести брата. Он устал и не хотел ничего, кроме покоя.

Так я думал и продолжаю думать, но в Таганроге у меня появились надежды на лучшее. Государь был весел, бодр, деятелен, сам расставлял мебель в покоях императрицы и, влезши на табурет, вбивал в стену гвозди для картин.

Градоначальник Папков предоставил ему свой особняк на Греческой улице, лучший в городе. Одноэтажный, с подвальным этажом для прислуги, дом имеет восемь жилых комнат, из них себе государь отвел себе две, а Елизавете Алексеевне с фрейлинами — все остальные, кроме большой сквозной залы, которую предполагалось

использовать для обедов, званых вечеров и приемов.

Императрица прибыла спустя две недели. С первых дней государь окружил жену заботой, старался предупредить ее малейшее желание. На прогулке ей приглянулось одно место у моря, возле Карантина; она сказала ему об этом, он немедленно распорядился разбить там сад. Елизавета Алексеевна начала оживать, в лице появились краски, на губах — улыбка. Супруги вели себя, как в первые месяцы после свадьбы, все радовались их любви и за глаза называли молодыми, но я понимал, что если круг жизни замкнулся, ничего хорошего отсюда выйти не может. Не воскрешение прежней любви, а упадок сил заставляли их искать утешение друг в друге. Угасшие страсти — слишком непрочный фундамент для начала новой жизни. У меня имелись основания думать, что государь вернулся к жене душой, но не плотью. Этот ангельский союз казался мне прологом другого — того, который соединит их на небесах, и тем скорее, чем меньше требуются им грешные тела для скрепления его здесь.

В один прекрасный день идиллия кончилась. За завтраком государю попался камешек в сухаре; он встревожился, поковырял его ногтем, встал, подошел к окну, начал внимательно рассматривать при солнечном свете. Елизавета Алексеевна убеждала мужа не нервничать из-за такого пустяка, он довольно грубо ей ответил и велел расследовать, что это за штука и откуда взялась в хлебе.

Вилье нашел, что камешек — обыкновенный, хлебопек покаялся в недосмотре, но государь долго не мог успокоиться. Меня насторожил его беспричинный страх быть отравленным. Казалось, он не в силах совладать с живущим у него в душе темным ужасом и хватается за что попало, лишь бы найти ему сколько-нибудь разумное оправдание.

Дня через два, незадолго до обеда, в комнатах внезапно потемнело от сошедших над городом туч. Работая, государь попросил зажечь свечу на письменном сто-

ле, но тучи разогнало ветром с моря, снова стало светло, а забытая свеча продолжала гореть. Государь не обращал на это внимания, пока я не напомнил ему, что жечь свечи днем — к покойнику. В Царском, где сирень под окнами его кабинета заслоняла свет, он не раз слышал от меня то же самое и смеялся над моим суеверием, а сейчас, побледнев, стал дуть на свечное пламя, но от волнения не сразу сумел потушить.

Что склеено, то не ново. Восставшая из гроба супружеская любовь, основанная не на гармонии душ и тел, а на взаимном прощении, приносила государю мало радостей, поэтому он с такой охотой принял предложение новороссийского губернатора, графа Воронцова, посетить Крым. Маршрут был рассчитан на 17 дней, Воронцов ручался, что они успеют вернуться в Таганрог до осенних дождей и холодов.

Было тепло, но не жарко. Мы выехали 20-го сентября, 24-го были в Симферополе, наутро верхом на татарских лошадях направились в Гурзуф и только у Байдарских ворот сели в экипажи. Моя печень не терпит быстрой езды, да еще по горным дорогам. Они меня измучили; Ореанда, Алушка, Ялта, Ливадия промелькнули сплошной пестрой вереницей, но Балаклава выбилась из этого ряда. Здесь государь столкнулся с тем, о чем старался забыть: пришлось устроить смотр расквартированного в городе линейного греческого батальона, при этом на него самого больно было смотреть. В каждом солдатском взгляде он читал немой укор.

Из Балаклавы мы проследовали в Георгиевский монастырь на мысе Фиолент, в двух верстах от города. В этой старинной византийской обители готовят капелланов для Черноморского флота. Монастырь расположен на площадке среди скал, высоко над водой. По преданию, тут отдыхал Святой Георгий, пока слуги купали его коня, отсюда увидел вышедшего из моря змея, вступил с ним в бой, одолел, но не сразу поразил копьём, сперва поехал на нем в соседнюю, еще языческую Корсунь, и при виде всадника на огнедышащем драконе все ее жители тотчас обратились в христианство.

Об этом нам говорил настоятель, кефалонский грек Агафангел. В то время я еще не получил твое письмо с рассказом о Мосцепанове, а сейчас думаю, что его Змей Горыныч и фиолентский дракон — в сущности, одно и то же. В древних преданиях огонь всегда предшествует обновлению мира. Люди вроде Мосцепанова ближе стоят к праосновам жизни, через них помимо их воли к нам доходит память о том, во что мы, умники, давно не верим. Не случайно легенду о крещении Корсуни сохранили не понтийские греки, родичи Курталиди, а полудикие ногайцы-мусульмане. Агафангел от них ее и узнал.

Вопреки посулам Воронцова на Фиоленте погода испортилась, подул ледяной северо-восточный ветер. На высоте укрыться от него было негде. Утро обещало чудесный день, государь поехал в мундире без шинели; его продувало насквозь. Страх смерти уживался в нем с презрением к заботе о здоровье. Надо было или срочно уезжать, или идти в трапезную греться горячим питьем, но он счел неудобным отклонить приглашение Агафангела осмотреть пещерный храм. Там, в толще скалы, на смену ветру пришли холод и сырость подземелья.

Сам я, как все свитские, в подражание государю тоже имел глупость отправиться налегке, один Курталиди был в шинели.

Я негромко сказал ему: «Предложите государю вашу шинель».

Они почти одного роста и схожей комплекции, но Курталиди ответил, что его шинель придется государю не по фигуре, он в ней будет выглядеть неприлично. Я не настаивал и позднее пожалел о своем малодушии.

В итоге государь простудился. Он уже был ослаблен утомительными переездами, к тому же по пути у него расстроился желудок. В Севастополе он попросил Тарасова приготовить для него рисовое питье, которое ему давали в прошлом году при горячке, вызванной рожистым воспалением на ноге.

Впоследствии Тарасов раскаивался, что исполнил его просьбу, ведь если это была не простуда, а крымская лихорадка, зараза могла бы выйти вместе с поносом; рисовое питье удержало ее в организме.

По приезде в Бахчисарай государь явно был нездоров, тем не менее поскакал в Карасу-Базар, на могилу баронессы Криднер. Около получаса он простоял там на пронизывающем осеннем ветру. Мы терпеливо ждали в отдалении. Солнце не показывалось, под порывами ветра то трепетала, то волнами стелилась по земле желтенькая кульбаба, которой заросло это заброшенное холерное кладбище; эвкалипты с бесстыдно-голыми, как крысиные хвосты, стволами заунывно шумели своей жестяной листвой. Ни ограды, ни часовни. Место было тоскливее некуда, не верилось, что земля здесь освящена. Все вокруг дышало запустением, но не покоем. Могильные холмики почти сгладились, кресты почернели, покосились, иные лишились перекладин. Сухой климат уберег их от полного разрушения, и все равно казалось, что это не христианское кладбище, а лесной жальник, где хоронят утопленников и самоубийц.

Баронесса лежала в стороне от солдат и двух-трех жертв устоявшей перед кумысолечением чахотки, лютеранский крыж на ее могиле выглядел еще относительно свежим. Я подумал, что, может быть, не случайно у нее развился сапсег. Рак питается нашим страстным желанием иметь то, в чем нам отказать, а ей известно чего не хватало.

Все мы продрогли и опасались за здоровье государя, но он глубоко ушел в свои мысли, никто не посмел его беспокоить. Здесь, а не в покоях жены, пребывало его сердце.

Я подошел к нему и сказал: «Пора уходить. Вы приближаетесь к шестому десятку и не можете пользоваться теми же силами, что в двадцать лет».

Он сделал знак не мешать ему.

В эти минуты решила его судьба. По дороге в Бахчисарай государь пожаловался на озноб, добавив, что на кладбище он не мерз, согреваясь молитвой духа, которой научился от покойницы. Такое чувство, будто она утянула его за собой.

На обратном пути из Крыма болезнь стала очевидной. В Мариуполе, на ночлеге, Курталиди сказал мне: «Он в полном развитии лихорадочного пароксизма».

Решив не миндальничать с ним, я спросил: «Почему вы не захотели отдать государю свою шинель?»

«Это ничего бы не изменило», — ответил Курталиди.

Я не мог не признать его правоту. Среди владевших мною в те дни чувств не было, пожалуй, одного — удивления.

Утром в Мариуполе я проснулся затемно. Было холодно, вставать не хотелось. В комнате царил мрак, за окном тоже стеной стояла ночь. Даже само окно не видно было в темноте, но постепенно на фоне светлеющего неба начали проступать перекрестья рам, и я подумал, что так же сквозь истлевающую в земле плоть мертвеца со временем проступает его скелет.

Я перенес это сравнение на человеческую жизнь, представив ее мягкой, растянутой между прошлым, настоящим и будущим, но с твердым костяком внутри, который придает ей смысл и форму. Этот костяк — судьба. Она все яснее являет себя по мере того, как ветшает наше тело и меньше жизни остается у нас в запасе.

Одевшись, я пошел к государю. Ночью ему стало хуже, у него был сильный жар, но он с детским упрямством отказывался от любых лекарств. Согласился выпить лишь чашку пунша и последние 90 верст от Мариуполя до Таганрога проехал под медвежьей полостью.

В дороге мы встретили фельдъегеря из Петербурга. Привезенные им доклады окончательно убедили государя в том, о чем он догадывался и раньше, но боялся в это верить: Россия осталась без власти. После смерти Настасьи Минкиной, любовницы Аракчеева, ужасной женщины, пытавшей дворовых девок раскаленными щипцами для завивки локонов, за что ее и убили крепостные в Грузино, Змей с горя тронулся умом и самовольно отошел от государственных дел. Государь тем сильнее был угнетен этой новостью, что сознавал свое бессилие.

В Таганроге он посидел за ужином с императрицей, но не ел ничего, кроме хлебной воды. Лег спать, немного почитал перед сном Евангелие и уснул, а утром, вставая

с постели, упал в обморок. Его уложили на кровать, привели в чувство. Тут же, стремясь показать, что с ним все в порядке, он с трудом сел, потребовал прибор для бритья, сам начал бриться и порезал себе подбородок. Камердинер бросился к нему с флакончиком и примочкой, государь оттолкнул его, швырнул бритву на поднос и, как ребенок, зарылся лицом в подушку, марая ее кровью. Плечи его тряслись от рыданий.

Под вечер, не обращая внимания на protestы Тарасова и Вилье, он несколько раз безуспешно пытался встать на ноги, в конце концов оставил эти попытки и больше их не возобновлял.

В последующие дни все трое наших докторов, Елизавета Алексеевна и я постоянно убеждали его в необходимости кровопускания, но ничего не добились. От таких разговоров государь приходил в бешенство, а когда сил гнеться не осталось, отворачивался к стене и не хотел ни с кем говорить. Пиявки также были им отвергнуты.

Ты спросишь, не значит ли это, что ему хотелось умереть? Не думаю. В первые дни болезни он считал ее не настолько опасной, чтобы слушаться врачей, потом его мысли спутались, вряд ли среди них возникал вопрос о том, стоит ли жить дальше. Умиравшие такими вопросами не задаются.

Одно знаю точно: государь жаждал покоя, в затуманенном высокой температурой сознании эта потребность обернулась видениями той жизни, которой ему всю жизнь не хватало.

Однажды вечером, лежа в постели, он поманил меня к себе пальцем. Я склонился над ним, он шепотом спросил: «Помнишь Ореанду?»

Я ответил, что да, помню.

«Райское место, — прошептал он, на мгновение светлея лицом. — Там для меня построят дворец, я буду жить в нем один... Совсем один... А ты станешь моим библиотекарем».

От жалости к нему остро сжалось сердце, одновременно я испытал неуместный в тех обстоятельствах прилив счастья. Эти

его слова гремели у меня в ушах. Он хочет разделить свое уединение со мной! Со мной одним! Я понимал, что этого не будет в любом случае, поправится он или нет, но фантазия разыгралась, как после опиума. Лишь усилием воли удалось ее укротить.

Вспомнилось, как хан Кучум просил Бориса Годунова прислать ему очки. На покое государь тоже мечтал предаться чтению, но до покоя он не дожил. До очков — тоже.

В комнате не было никого, кроме нас двоих, все разошлись по каким-то срочным надобностям. Пользуясь этим, я дерзко поцеловал государя в темя. Меня обожгло пылающим в нем жаром.

Говоря о дерзости, я подразумеваю исключительно то, что не имел права так поступить, ничего более. Я поцеловал его, как любящая мать на ночь целует засыпающего ребенка. Не уверен, что он ощутил касание моих губ. Его глаза были уже закрыты. Я на цыпочках вышел из круга света от горящей в изголовье свечи, отошел к окну и тихо заплакал.

На другой день его состояние резко ухудшилось, решили пригласить духовника для причащения Святых Таин. Вилье надеялся, что государь, испугавшись, согласится на пиявок и на лекарства.

Елизавета Алексеевна взяла на себя нелегкую миссию объявить ему об этом.

«Раз вы отказываетесь от врачебных средств, — сказала она, садясь рядом, — я намерена предложить вам свое лекарство».

«Хорошо, говорите», — ответил он с неудовольствием.

«Я советую, — продолжала императрица, — прибегнуть к врачеванию духовному. Оно всем страждущим приносит пользу и дает благоприятный оборот в тягчайших недугах».

«Кто вам сказал, — спросил государь, — что я в таком положении, что необходимо это лекарство?»

«Вилье, Тарасов и Курталиди», — созналась она.

Позвали всех троих.

«Вы думаете, болезнь моя зашла уже так далеко?» — обратился к ним государь.

Вилье и Тарасов растерялись и не знали, что говорить, но Курталиди ответил без обиняков.

Выслушав его, государь сказал императрице: «Благодарю вас, друг мой. Прикажите, я готов».

После исповеди и причащения он совершенно успокоился. Господь снял у него с души две мысли, особенно его терзавшие — о смерти отца и о победах Ибрагим-паши над греками. Совесть перестала его мучить, после этого исчез и страх смерти. Он больше не кричал на докторов, не метался в постели, не жаловался. Равнодушно пил микстуру, дал поставить шпанскую мушку на затылок, но пиявок отверг раз и навсегда.

Врачи не высыпались, Елизавета Алексеевна с ее слабым здоровьем не могла не спать ночами. Одну из ночей я с вечера до утра провел около государя. Выходя из забытья, он начинал читать молитвы и псалмы, но 91-й псалом не прозвучал ни разу. Впервые за многие годы государь не прибег к нему, чтобы получить успокоение. Теперь оно было ему не нужно.

С этого дня он все чаще погружался в беспамятство, наконец утратил речь и 19-го ноября, в 10 часов 52 минуты, отошел в вечность.

Елизавета Алексеевна, последний раз встав перед ним на колени, сама, своим платком, подвязала ему челюсть. Я обратил внимание, что у нее даже не дрожали руки.

Она, видимо, почувствовала, как я на нее смотрю, и позже спросила меня: «Вас удивило мое спокойствие?»

Я молчал, не смея подтвердить ее слова и не желая их опровергнуть.

«Я спокойна, потому что наша разлука будет недолгой. Скоро мне предстоит последовать за ним», — сказала она.

Я, однако, остался при мнении, что ей так и не удалось ни простить мужа, ни полюбить его вновь.

Одиночество всю жизнь бывшее его уделом, после смерти приняло ужасающие формы. Как Александр Великий в Вавилоне, он тоже оказался лишен того, в чем не отказывают и последнему нищему. Пока

Константин Павлович и Николай Павлович выясняли, кому из них достанется престол, а заговорщики готовились бунтовать на Сенатской, о государе все позабыли. Второй месяц его тело без погребения остается в Таганроге, за 2000 верст от Петербурга, и, боюсь, не скоро доберется до могилы.

Море беспокойно, ночами подмораживает, яблони в саду звенят обледенелыми ветвями. Соленые сосули под кровлей за день не успевают растаять. Печи топят плохо, дрова сырые, дымоходы не чищены; даже в сильный ветер тяга оставляет желать лучшего. У двух печей невозможно до задвинуть вьюшки, все тепло вылетает в трубу. В доме холодно и неудобно. В туалетной комнате вечно нет воды, простыни меняют раз в неделю, и то если напомним, обедать и ужинать подают невовремя. Вилье и большая часть свитских под разными предлогами улизнули в столицу, в Таганроге остались бесполезные ныне Тарасов с Курталиди, императрица, я, Илья Байков и немногочисленная прислуга, которую еще и не доищешься.

Тарасов корит себя, что в Севастополе дал государю рисовый отвар вместо слабительного, поэтому с утра запирается в комнате и пьет горькую; Елизавета Алексеевна читает Евангелие, подолгу кушает, а в промежутках между этими занятиями пишет длинные письма матери или дуется в карты с фрейлинами. У Курталиди в Таганроге похоронены родители, есть родня, друзья отрочества. По вечерам он ходит в гости, там и ночует или является под утро, бледный, со следами излишеств на лице. Угрызения совести его не мучают.

11-го декабря гроб с телом государя перевезли в здешний греческий Александровский монастырь, где оно находится до сих пор. Распоряжение об отправке гроба в Петербург все еще не поступило, и когда его ждать, неизвестно. Близится Рождество, зимняя дорога установилась, но за месяц ни один фельдъегерь не прибыл к нам из столицы. Судьба царских останков никого там не интересует. Победитель Наполеона, властитель полумира с почерневшим от неумелого бальзамирования лицом,

наконец-то утратившим непростительную для самодержца размытость черт, покоится в нетопленной келье; мундир с эполетами смотрится на нем, как на балаганном эфипском генерале, орденские звезды кажутся вырезанными из цветной бумаги. Греки из монастырской братии только делают вид, будто заботятся о его душе и теле. Они в очередь читают над ним молитвы на своем языке, но их лица равнодушны, в голосах нет живого чувства.

После того, как гроб из собора перенесли в эту келью, императрица навестила мужа всего пару раз. Я один прихожу сюда каждый день, молюсь, просто сижу рядом, думаю, что перед ним уже открылся сияющий чертог, по сравнению с которым дворец в Ореанде — жалкая хижина. А ведь всего три года назад он тяжело пережил сплетню о том, будто под лосинами у него фальшивые икры.

Ты считаешь, что пока полководцы Александра Великого ссорились между собой, труп царя сохранялся в меду, это убергло его от распада. В Таганроге были применены другие методы, я не могу вспомнить о них без содрогания.

Через день после смерти государя, войдя к нему в комнату, я увидел, что лежащее на столе нагое тело отдано во власть четырех гарнизонных фельдшероу; они кухонными ножами вырезывали мясные части, забивали полости вываренными в спирте травами и туго запеленывали полосами тесьмы. Вынутые накануне внутренности, мозг и сердце лежали в запертом на замок серебряном сосуде, похожем на большую сахарницу. Пол был в пятнах от наспех вытертой крови, к нему липли подошвы сапог.

Слава Богу, тошнотворная мысль о том, что потом сделают с кусками вырезанной у государя плоти, посетила меня позже. В тот момент ни одной мысли не было.

Вилье, присев у подоконника, составлял заключение о результатах вскрытия. Он пожаловался мне, что свитские сидят по квартирам, прислуга разбежалась, не хватает простых тряпок, не говоря о чистых простынях и полотенцах. Его ассистенты, шотландцы Добберт и Рейнольд с красными потными физиономиями, в расстегнутых жилетах, с сигарами в зубах, варили необходимые при бальзамировании травы в стоявшей на огне камина кастрюльке, помешивая в ней ложками.

Отрезанный при вскрытии череп был выскоблен до голой кости и уже приложен на место. Курталиди начал натягивать на него кожу с волосами. Я смотрел на это в оцепенении, не в силах выйти вон или даже закрыть глаза. В комнате стояла страшная духота, окна и форточки были закрыты, жарко горели толстофитильные свечи, но ни запах талого воска, ни сигарный дым, ни одуряющий аромат кипящего травяного варева не могли заглушить густой стоячий мертвой плоти. Я успел заметить, что когда кожу натянули, у государя изменилось выражение лица, и лишь затем потерял сознание.

Очнулся на диване в сквозной зале. Возле сидел Курталиди, щупал мне пульс и говорил, что не удалось раздобыть нужное количество спирта, не его вина, если у покойного со временем почернеет лицо. Египетские жрецы, превратившие тело македонского царя в мумию, таких затруднений не знали.

Владимир Лаврентьев

Где невозможно долго жить



Коты крепости Сан-Жоржи

Сан-Жоржи — цитадель и замок на самом солнечном холме, как кот с закрытыми глазами, лежит и греет ветхий мех.

Здесь прежде были поэтапно театр, тюрьма и арсенал. Теперь он — словно старый тапок, лежит, потерянный, в сенях.

Старухою, которой не с кем припомнить прежние века, под покровительством ЮНЕСКО ему копить свет. А пока,

Пока ЮНЕСКО средства ищет и формируется бюджет, котята, кошки и котичи свои на солнце греют ж...

Они, как в обветшалом патио, на отшлифованных камнях с типично кошачьей апатией лежат, растягивая «мнямя?».

Лежат они, десяток, два ли от всех мастей и возрастов во внутрикрепостном овале, травой поросшем и пустом.

Они, в ком гены кошек барских, что жили в винных погребах, теперь друг другу «чешут» сказки про то, как кот да Гамы Васька к Багамам с Вашку подгребал.

Котам известно все о готах, о подземельях королей и о незримых переходах из параллели в параллель.

Или о том землетрясенье, что вскрыло кладки каждый шов, и от которого доселе Сан-Жоржи так не отошел.

Так от кота к коту мотают повествования клубок... Что правда, что вранье в тех тайнах? Никто не знает — только Бог.

Служитель, шаркая знакомо и что-то про себя ворча, несет ведро с кошачьим кормом всегда в один и тот же час.

И развернув на запах морды, за ним по курсу на восток плывет мохнатая армада, качая мачтами хвостов.

Года сползли змеиной кожей и тихо уползли в кусты. Взамен сегодняшней мир ожил. И, значит, будет жить Сан-Жоржи, и пусть хранят его коты.

16.03.2012

Мыс Рока

Нельзя всю жизнь прожить у океана и не сойти, в конце концов, с ума. Над этим переливчатым экраном всегда висит отравленный туман. Отросток Португалии. Мыс Рока. На крайние Европы рубежи

Ведет нас красно-желтая дорога Туда, где невозможно долго жить.

Здесь ветер близко к ультразвуку воет; и за обрывом вздыбленной земли к себе в утробу тянет все живое приливом притворившийся отлив.

Мы в океан заходим по колено, чтоб сняться у стены гигантских волн. И вновь к зеленым пальцам суккулентов. И вон отсюда. Непременно — вон!

И, право, для чего с волнами биться? Здесь каждый год теряются пловцы. Зеленых волн пульсирующий бицепс гораздо убедительнее цифр.

От вилл, дворцов и городских помоек Сюда бредут паломники и те, кому свои послания Камозэн писал на этом каменном кресте.

Ворона методично камень долбит, дописывая что-то от себя. Ты, вроде бы, свободен здесь по обе береговые линии. Судьба тобой распоряжается иначе (сюда не нужно было приходить). Ты в точке невозврата, просто мячик и выход у тебя теперь один: пытаться отыскать хоть каплю смысла в безумии, что скоро посетит, принять свою судьбу и, смывшись с мыса, пройти по бесконечному пути.

А вдруг и ты чего-нибудь откроешь, Ненужный никому из нас атолл? И выполнишь, как завещал Камозэн, свое предназначение и долг.

И быть потом затянутым воронкой, бездонной, словно дзенский коан. Отросток Португалии. Мыс Рока. Огромный, как «ИКЕА», Океан.

29.11.2011

Сан-Микеле

По лагуне зеленые волны
гонят мусор быстрее обычного,
а с другой стороны — меньше вони.
Небо смотрит сурово, набычившись.

Нам до мемориального кладбища —
Пять минут с Фондаменте Нуово.
Можно было... да ладно, когда еще
будет случай, возможность и повод?

Катер выплюнул скучную порцию
пассажиров к воротам погоста:
нас с какими-то, вроде, японцами,
да и те перепутали остров.

На зеленых холмах Сан-Микеле
Валуны — по-латински, без отчества.
Эти ложа похожи на кельи,
пожелавших побыть в одиночестве.

Мы проходит протоптанным руслом,
там, где время застыло, как патока.
Тихо. Грустно. Совсем не по-русски
(и совсем не по-пермски, опять-таки).

Мимо кучек из светлого гравия
прохожу я за угол и дальше.
Не могу я смотреть фотографии
вечно детских серьезных мордашек.

Здесь каштаны ли, вязаы — как флаги в ряд
на линкоре застыли вдоль борта.
Как птенцы пионерского лагеря,
они ждут наступленья субботы.

Здесь, наверно, уютно по праздникам;
приезжают на лодках, в гондолах
поболтать о прошедшем, о разном,
и все вместе опять ненадолго.

.....

Проходя сквозь мощные дворики
(ну, точь-в-точь Петербурга колодцы!),
я пытаюсь попасть в нужный створ реки,
Неужели не сыщется лоцман?

Указатель сверкнул, словно в тигеле
капля золота, ярко и броско:
«EZRA POUND STRAWINSKI и DIAGILEV»,
и чуть ниже приписано «Бродский».
Сигареты, записки и финик,
фотография группы нанайцев,
надпись «LETUM NON OMNIA FINIT»*
(ну, конечно, с ней все начинается!)

Вот свершилось. В Перми представлял себе
Этот миг, этот час, эту сцену.
И цепляясь за строки-балясины,
я тащусь непосредственно к центру.

На могиле — почтового ящика
имитация с грудой конвертов;
в центре — куст, чья-то шляпа и ящерка
греет брюшко — посыльный, наверно.

Я таскался весь день по Венеции —
пьяццы, кале, кафешки, причалы,
где Иосиф бывал. Наконец-то,
завершил, что планировал. Чао!

А в Перми, я скажу, тебя помнят,
Пусть уже не повально, а точно.
Но когда вот завалит их комьями —
ну, тогда не взыщи, это точно.

Постояли. Поклон тебе низкий,
нам на родину нынче с вещами.
На минутку заскочим к Стравинскому,
посмотреть, где он там, обещали.

А вообще, почта нынче — на уровне,
Ошибается, в принципе, редко.
Где Стравинский — туда с партитурами,
Там, где Дягилев — пачки, балетки.

Ну, а Бродскому — курево пачками
(ни цветов, ни стихов, ни пирожных)
тут лежат, но дождями испачканы,
да и ящер — чувак ненадежный.

Попрощались. Стоим на опушке мы
и глядим, как метнулся акулой

из-за стен Сан-Микеле запущенный
в желтом небе горящий окурок.

* со смертью ничего не заканчивается (лат).

06.12.2011

Итальянская Ривьера.
Раннее утро.

Вторник. Лидо Джезоло. Феррагосто*
вчера отошло, словно дым кальяна.
Лета осталось всего на полгорсти,
пляж обезлюдил без итальянцев.

Тушки коптящихся розовых немцев
Увы, никого не ввергает в трепет.
Лишь кем-то забытое полотенце
на крыше солярия чайка треплет.

Напрочь выжатые дискотеккой
они ползли, то есть, ползут такие,
опустошенные как подтеки
на пляже мазута или текилы.

Под утро безумный Олимп покинув,
в парео забрав смоляные космы,
уснут как в палатке, в песке богини
так просто, как в тесто завернутый космос.

... Расположившись на зябком пирсе,
пятки сложив на храпящего дожа,
она себя ощущает как пирсинг
этого мира, то есть, снаружи.
Собственно, так, уплетая пиццу,
можно в него, наконец, взглядеться
не торопясь.

На солярии птица
все продолжает терзать полотенце.
Сморгнув слезу (или крошку сыра?),
она скорбит об ушедшем лете:
ему отправляться с Корпусом мира
в Гвинею.

Опять же в университете
начнутся лекции — сплошная заушь.
Они расстанутся почти что на год.
И я обливаюсь почти что слезами

над пятым стаканом.

И чайка нагло
клюв опускает в мой капучино —
надо же чем-то запить полотенце!
Впрочем, для слез я не вижу причины.
Кто мне мешает зависнуть в Венеции,
не возвращаясь в родной колумбарий,
и подыскать себе на зиму крышу?
«Лето вернется!», — слышал я в баре
(Может, просто хотел так услышать).

Бросаю в волны монеты как гальку,
чайка под ухом хохочет сипло.
Мне ж одноразовую зажигалку
Море швырнуло «заместоспасиба».

* Ferrogosto — праздник Успенья, окончание летних ка-
никул в Италии

Август-сентябрь 2011, Лидо Джезоло

Кирха

Поземки волны декабрь катит,
Коварно маскируя наледь.
Вид сверху: кирхи дебаркадер
вмерз в лед на уличном канале.

В ней люди, пообщавшись с Богом
обыденно и деловито,
степенно оставляли сбоку,
записки, свечи и молитвы.

Весь день, покуда лютеране
беседовали с Богом вдосталь,
старушка шваброй затирала
полов замызганные доски.

Метель, как силы зла, снаружи
стремилась расшатать устои.
Она ж по мере силы служит,
следя за храма чистотою.

Она уйдет, в пурге растаяв,
в дом без детей и без мужчины.
А через час, проверив ставни,
уйдет и староста общины.

Деревья ветер рвет как снасти,
еще спасибо, что не с корнем.
И распахнувши окна настужь,
готов вскочить на подоконник.

Но кто-то твердою рукою
захлопнул снова створки окон.
И в состояние покоя
мир вновь вернулся, словно в кокон.
И снова тихо и надежно,
и необыкновенно просто.
Лишь вздох: исполнить кто-то должен
за день скопившиеся просьбы.

Лишь месяц с царственностью дожа
плывет по небу против ветра.
Да, ночь, зима, но где-то должен
быть хоть один источник света.

09.03.2012

Пересекая пустыню Негев

Эта серо-желтая земля,
избранная некогда Мессией,
словно грязно-белая зима
где-нибудь в России, на Висиме.
То и то — толченая зола.
Тускло. Вечно. И неукоснимо.

Бережно завернуты в пески
черепки, предания, руины,
бедуина грязные носки
(если есть носки у бедуина).
Ветер — надоедливый москит.
Пафосно. Нетленно. Слишком длинно.

Ветер, тлен, песок. За слоем слой
мир укрыт, точней, сожжен в пустыне,
и золой остывшей занесло
изначально названное имя.
Впрочем, как и многие из слов,
тех, что были непроизносимы.

Нет дорог — кругом одни Пути.
каждый набирается курсивом.
Ни насквозь пройти, ни перейти

этот рассыпающийся символ.
Разве что попробовать в горсти
унести, но — непереносимо.

Октябрь 2009

Проза / Рассказ

Владимир Киршин

Гарибальди Весельчак



Играть!

— У тебя башка как наковальня, на ней гвозди выпрямлять можно! Где молоток? — ору я ушибленно. Гарька виновато лезет под стол, он опять не рассчитал силы в игре.

— Гад! Носом своим мне прямо по колену! — стенаю я на публику. Падаю в кресло, меняю тон. — Выходи, убийца, мучить тебя буду.

Выползает, чудовище, ложится у ног. Я сажусь в кресло и принимаюсь пятками месить собачью тушу: у — у, терминатор. Мерзавец жмурится от удовольствия, «мучиться» ему нравится не меньше, чем играть. Телесный контакт с хозяином для телохра-

нителя высшее наслаждение. По большим праздникам я разрешаю Гарибальди коснуться клыком моей ступни: зверюга растягивается на полу, утыкается зубами мне в босые ноги и засыпает.

— У, рожа, — ворчу я понарошку на друга. — О моих конечностях мечтаешь? Мою берцовую кость погрызть? Фиг тебе. Задушу как котенка.

Такая у нас любовь.

Гарибальди — американский питбуль без родословной. Читатель! Никогда не бери в дом такую собаку, это плохо кончится, сто процентов. Питбулей, вообще, злые люди

для кровавых игрищ вывели, запомни, отсюда и название: pit с английского — на травливать, bull — бык. Сами американцы с питбулями уже наигрались и в нескольких своих штатах запретили. Почему крутые россияне на них запали, легко догадаться, но как конкретный песик именно ко мне попал, в семью без быков, — вот вопрос.

Ответ: пять лет назад мы с женой пожалели больного щеночка, уродлика бракованного. Не верили, что выживет, не думали об этом. Так, поиграть взяли, Джеральда Даррелла начитались. А он выжил. Давайте, говорит, папа-мама, обучайте меня теперь бойцовским наукам по всем правилам, а то я вас схавую.

Мы с женой переглянулись и помчались Гарибальдику тренера искать.

— Ни за какие бабки, — тренер говорит. — Он у вас некондиционный, непредсказуемый. Я жить хочу.

Тут Господь Бог вмешался. Подсунул нашему людоеду осколок бутылки под лапу, и тот себе вену перерезал. Но мы не поняли Промысла Божьего! Кинулись спасать четвероногого друга. Вот как было дело.

Лежим всем семейством у речки, загораем, на песика любимся: Гарька носится по мелководью, выпрыгивает стежками, как олень, барахтается в щенячьем восторге, ныряет за палкой — а палка, я вам доложу, метра четыре дрын. Гарька его вертит, мускулы на грудке играют — атлет! И вдруг видим — вода в реке вся красная...

Как мы в город добирались, как Айболита искали, рассказывать не буду. Только не было у нас с женой выбора, и мыслей никаких иных не было, кроме как спасти животину. Рану пальцами зажимали (жгуты дурень срывал). Вымазались в собачьей крови с головы до ног. Спасли.

И как-то так... Перековался головою, раздумал нас хавать. Кровь решила дело.

Оборотень

Кровь решила дело. Стал наш терминатор в душе белым и пушистым, безобидным до безобразия. Нет, ну то, что он нас, свою

семью, не трогает — это правильно. Но ведь и чужих перестал есть. Vegetарианец, блин. Декоративная стала собака.

Зато какая декорация! Жабу видели? Вот такого мерзкого цвета камуфляж у псины. Пасть до ушей; голова булжником; шея, как у вола. Ошейники мы не носим по причине толстой шеи, мы их теряем, носим портупею. Именно эта портупея вперехлест широченной бультерьерской груди наводит ужас на встречаемых. Иногда это приятно, не скрою, особенно если навстречу сволочь пьяная прется и замирает при виде. Но чаще имеем неудобства.

Он ведь не играет ни с кем, кроме своей семьи. А иногда так хочется.

— Смотри, Гарибальди, как на собачьей площадке весело. Иди, познакомься, что ты как этот.

— Не хочу, папа, — отвечает Гарибальди мимикой.

— Ну, хотя бы пройди мимо спокойно, не позорь меня.

— Я постараюсь...

И тут же дергает поводок, я чуть не падаю. Он бросается на всех, как буйнопомешанный. Но никогда никого не трогает, такая манера — пробегает мимо, почему-то поджав хвост. Такое впечатление, что на бегу Гарибальди превращается из грозного питбуля в мелкую шавку, подлую притом.

— Стыд, срам и позор, — внушаю я дуболтому. — Да, правильно, твой хозяин не хочет боя. Но почему ты, сволочь, забываешь об этом на старте?!

— Сам не знаю, папа.

Вот и получается, добрых людей он пугает, а для реальных грабителей безопасен как пуфик. Некрасивая декорация получается, неправильная.

Бутылка

— У тебя хромосом в голове не хватает, — долблю я каменный лоб своего любимца. — Ты хотя бы учитывай это, свинина.

Я нарочно обзываю его разными словами, чтобы не важничал. И еще чтобы самому не забыть, кто из нас венец природы, а кто

так — фауна. Крыша иногда едет, когда видишь преданные собачьи глаза... Кажется, вот она, родственная душа...

Ну, вот опять! Этот гад мгновенно чувствует слабинку хозяина. Вскочил, облыбился и метет хвостом все быстрее и быстрее. Сейчас начнет меня помогать.

— Сидеть, — шиплю я, показывая зубы: изображаю вожака.

Игрун не подчиняется. Закидывает на меня передние лапы, норовит лизнуть в нос, рефлекторно дергает задом. Я заносу кулак для удара, предупреждаю распоясавшегося кобеля:

— Бью в глаз. Раз... Два...

Собачий глаз начинает опасливо жмуриться, морда воротится на сторону, возбуждение спадает, Гарри несолоно хлебавши возвращается на место.

В свои пять зрелых лет Гарибальди холостяк. Его отношения с противоположным полом... Ну, короче, сложные отношения, совсем как у человека. Все собаки как собаки, а этот лопух из каждой случки делает историю с несчастливым концом.

И, как все неудачники, Гарри дружит с бутылкой. С пустой, разумеется, кто ж ему нальет? И как вы могли подумать такое! Питбуль, психованный, голубой, да еще и пьяный?! Нет, это чересчур. Пустая стеклянная бутылка — лучшая игрушка для неунывающего Гарибальди.

Были у нас мячики, резиновые колбасные изделия, кольца, кости, палки — весь штатный игровой инвентарь мы скоро обращали в лохмотья и щепки, как положено. Из нештатных только бумажки и бутылки.

Бумажка, с точки зрения собаки, исключительно человеческий предмет. Хозяева все время передают друг другу из рук в руки бумажки разного размера, цвета и запаха. Самый волнующий момент дня — возвращение хозяина домой — всегда сопровождается появлением бумажек: хозяин входит, отбивается от восторгов собаки, швыряет на тумбочку ключи (это неинтересно), а потом вынимает из кармана какое-нибудь письмо, газету или просто маленький билетик и, разговаривая с хозяйкой, машет им

перед любопытным собачьим носом, дразнит. Древняя игра, сколько ей сотен лет? В глазах у заспанной домашней собаки зажигаются вольные первобытные искорки, пасть раздвигается в лукавой улыбке, дрожат брыли от беззвучного смеха... Собаке уже весело, но она еще раз, на всякий случай, проверяет хозяйские намерения: лижет бумажку — нет, не цыкнули, не отняли, не прибили (как в прошлый раз со сторублевкой), можно хватать. Собака делает попытку схватить маленькую бумажку своими огромными зубами, у нее не получается, хозяин хохочет. Его хохот мил собаке, он так похож на собачий лай. Рыча и гавкая, оба вместе — кто где? — возятся в прихожей, как два щенка, отнимают друг у друга мокрую дрянь, и счастью их нет предела...

Зато пустая стеклянная бутылка, с точки зрения данного конкретного рычалы по имени Гарибальди, есть предмет сверхчеловеческий. Он — она, то есть — бутылка, водится в кустах, в высокой траве, зимой — на снежной целине, где не ступала нога человека. Ее надо учуять, отрыть и взять в зубы. Как точно укладывается бутылка попереки пасти, как будто она была тут всегда! Ее можно носить по городу целый час, ее можно не давать хозяину (при чем тут он?). Ее можно закапывать в землю (в снег) и выкапывать, закапывать и выкапывать сто раз.

Бутылка на ножках

Гарри лапами роет землю. Я смотрю на сосну — мое любимое дерево в солнечную погоду. Когда солнца нет, я люблю бамбук. Сегодня солнечный денек, и мы с Гарибальди гуляем под соснами.

Гарюха опять нашел бутылку. Он находит их всюду, в любых Каракумах отыщет и будет в зубах нести до самого дома, а я буду слушать от каждого встречного-поперечного тыщу раз одну и ту же шутку:

— О, сдавать понес! Полезная собака.

И вот эта самая «полезная собака», свесив язык от удовольствия, с бешеной скоростью роет окопчик, чтобы потом носом

закатить туда бутылку (она, облизанная, блестит в стороне в ожидании участи). Ну, вот такая игра у «полезных собак». Вокруг никого, одно эхо. Гулкий сосновый лес. И вдруг...

– Гав-гав-гав, — возмущенный голос откуда-то из-под наших ног. Типа: — Ага! Играют тут! Без меня!

Мы с Гарибальдиссимусом, что называется, офигели.

Откуда-то из-за шишки, из-под листика, вывинчивается, как в мультике, рыжая кишка с выпученными глазами, с тряпочными ушами и на кривеньких таких, пластилиновосмятых ножках — такса. И гавкает.

Нет, я люблю такс! Просто глаз привык к другим пропорциям, думаю себе я. А такса тем временем, с беспечностью мультяшки шляндает прямоком к разинутой питбулевой пасти — нюхаться.

А мой питбуль такс никогда не видел, так получилось. Стоит, как стоял, свесив язык, глаза вытаращил на это чудо природы. Такое мгновение ступора. Мгновение просторное, как пермская эспланада. В это мгновение умещается истошный крик хозяйки таксы-камикадзе:

– Дуся!!!

И падение таксы в окопчик питбуля.

Ну, картина! Такса Дуся барахтается в окопчике, как в могиле, откуда, как известно, выхода нет. Над ней навис гигантский питбуль в страшной портуpee и с глупейшим выражением на морде. А сбоку на выручку к Дусе летит, как во сне перебирая ногами на месте, ее хозяйка — девчонка-малолетка с голым пупом, клёши в стразах. Летит и жутко бранится на лету, выкрикивает что-то вроде:

– Дуська, я тебя закопаю по морде, придурок жизни!

Добежала до нас и принялась скакать по кругу, пытаюсь выхватить свою собачку из ямы, как червончик из костра. Тоже — рискуя жизнью, спасает четвероногую подругу.

Тут вышел из ступора сеньор Гарибальди. Что он сделал: согнул свою воловьшу шею и ПОНЮХАЛ собачонку. И всё! И все

сразу успокоились, время пошло как положено. Началась игра. Гарри легким, почти нежным движением рыла выкинул живую игрушку из своего окопчика и осторожно покотил по земле, усталой сосновой хвоей. Компанейская Дуся, шутя, отбивалась короткими сильными лапами, смешно драпала, потом настигнуто извивалась и покусывала дубленую шкуру истребителя быков.

Ее хозяйка сидела на корточках и курила.

Я смотрел на сосну и не сомневался, что все будет хорошо.

Наследство от сына

Гарибальди достался мне в наследство от сына. Что скрывать, в жизни так часто бывает — родителям от взрослых детей достаются немодные туфли, битые тачки и разные собаки со странностями в поведении.

Гарибальдика я сам купил сыну пять лет назад: очень сильно мечтал крох о верном друге — ну вот, на, сынок, дарю тебе самого лучшего, самого золотого друга, люби его, корми и воспитывай. Так сказал я сыну-подростку с отцовской важностью, и с этой секунды начался в нашем доме кавардак.

Ну, во-первых, Гарибальдюшка выучил нас с женой по очереди вставать в семь утра (сын каждое утро разыгрывал летаргию) и в любую по-го-ду чапать по двору ровно три круга с заходом за трансформаторную будку для отправления «депеш». По возвращении мы с женой обсуждали срочность «депеш», ее контент и возможного адресата.

Чаще всего Гарибальдины отправления уходили Бен-Ладену. Гарри на этот счет секретничает, но мы с женой единым нутром чувствуем его связь с международным терроризмом. Так, если в семь утра никто из нас не встает, в доме начинается «голубой террор». Нет, никто не лает, не кусается — в нашей темной прихожей звучит волшебный голос актрисы Марины Ивановны Бабановой. «К т о т а м?!» — ошалело вскакиваем мы все (кроме, естественно, сынули). А там наш Гарри, шут гороховый,

в туалет просится таким изысканным манером: не разжимая губ, монологи нам произносит из репертуара театра имени Маяковского.

В остальное время хитрец нас разделяет и властвует над нами весьма искусно.

Сын грубо пользуется эскорт-услугами Гарри: сажает его на заднее сиденье и ездит с ним по делам. Пасть зверюге досталась непомерной ширины — р е а л ь н а я пасть, говорят пацаны с уважением, и при участии Гарибальди дела у сына идут особенно хорошо. Но я об этом ничего не знаю, — расскажу лучше про мою с «голубым питбубликом» дружбу.

Жизнь без Гарри

Она прекрасна. Когда сын забирает Гарибальди на пару дней (дольше они друг друга не выдерживают), я выгребаю из дома собачью шерсть, песок и щепки, мою полы и двое суток хожу по чистому полу босиком. И песни пою. И не боюсь наступить при этом на чей-нибудь хвост, именно на хвост: морду мы не бережем, разляжемся, блин, — наступай, хозяин, мне на морду, топчи ее, прыгай на ней, крутись на пятке, только хвост не трогай.

Что у него там? Надо потрогать.

Я ночью подкрался, чтобы хвост пощупать у спящего льва. Только тронул — слышу тихое рычание, рокот такой из глубины веков. Мне жутко стало, и я как был на четвереньках, так и вышел, не разворачиваясь. Утром оба делали вид, что ничего не произошло.

Еще морда на полу таит неприятности, если несешь перед собой какой-нибудь груз и не видишь дороги. Можно споткнуться и банально грохнуться всем составом. А он ведь, паразит, с дороги не уйдет. У него «тихий час» — раскинется, где сон сморит, и спит с открытыми глазами. Вроде как наблюдает: вот хозяин с кипящим самоваром к нему приближается, все ближе, ближе, вот хозяин запинается о собачью морду, а вот он уже падает плашмя.

Гарькин кайф

Что такое кайф? О, вы не знаете, что такое настоящий кайф, что бы вы там о себе не думали. Я, впрочем, тоже не знаю. Знает — Гарибальдиссимо. А я могу здесь только поделиться своими наблюдениями над ним, кайфоносцем, кайфилой, кайфуном раскайфовым.

Лето, жара, окно раскрыто — в нем белое небо и томная зелень стоящей напротив ивы. Лежу на диване, мокрый из-под душа. В окно влетает оса, что-то ищет, гудя, в моей комнате. Не находит, садится мне на глаз передохнуть. Мне это не нравится — машу рукой, встаю, выгоняю нахалку.

Прилетает снова. Может, та же, откуда я знаю, у них мундиры одинаковые. Следом еще две. Ага, битва? Ладно, — грозно встаю с дивана, вооружаюсь полотенцем... И тут одна оса попадает в вентилятор.

Вентилятор хороший, старый, еще советский, без ограждения, мощный — как даст ей по шее! Оса — брык. В клубочек. Ну, а кто тебя звал? Я пожимаю плечами и отправляюсь за венником: мертвая оса — живое жало, еще наступишь.

Возвращаюсь. О, нет! Издыхающую на полу осу нюхает Гарька. Во вратарском прыжке лечу спасать дурака, и не успеваю. На моих глазах заряженную ядом хищницу уносит в пасть широкий собачий язык...

Дальше было вот что. Сначала умный Гарибальдичек удивился и хотел посмотреть, что это у него стало во рту. Что-то такое там образовалось большое вместо маленькой осы. Он выставил язык на полметра и принялся его рассматривать выпученными глазами весь от кончика до корня. И снизу тоже. Наверное, для этой цели песья голова стала закручиваться по часовой стрелке, а язык — против. При этом из пасти, как из накрещенного таза, полила слюна, Гарька бухнулся на задницу, вроде как — сел, и затряс нижней челюстью.

Я в большом беспокойстве забегал вокруг потерпевшего: воды?... доктора?...

Но суть не в этом. Каждую собаку кто-нибудь кусал. Суть в том, что сэр Гарри пожелал еще раз быть укушенным. Ему понравилось!

Едва придя в себя от осиной ласки, умный отыскал на полу еще одну сбитую летчицу, слизнул ее и чавкал до тех пор, пока мстительное жало не впилося ему в язык! Последствия повторились, но моего беспокойства уже не вызвали.

Вот так и у людей: жизнь в современном городе так сладка, так приторна, что без капли яда в нем не выжить. Чуть сказал. Ладно, едем дальше.

Психоз короткошерстных собак

Наша вечная любовь, как это бывает сплошь и рядом, кончилась в один день. Гарибальди разрыл пол в кухне.

Я не знаю теперь, господа, до какой еще подлости может дойти это животное. Я не знаю теперь ничего, не понимаю причин и не уверен в моем завтрашнем дне. Мой мир рухнул под лапами этого психа.

Пустьяки, вы скажете, ну, пописал котенок в тапок, ну, покакал щенок тебе на подушку. Ты же сам привел в дом животное — терпи. Учи уму-разуму. Но то — щенок! А этому амбалу уже девять лет!!

Я вне себя, господа, налейте мне цикуты.

Дело было так. Прихожу домой, смотрю — нет собаки. Ну, то есть, открываю дверь — тишина, никакой снаряд пушечный не летит мне на грудь, никто не нюхает меня в сто носов, никто не лижет в тысячу языков, отбиваться не от кого — я проваливаюсь в пустую квартиру! Где Гарибальди? Нет Гарибальди.

В страшном недоумении иду в сапогах по комнатам, таращу глаза по углам: тут — никого, там — никого... Ага! Он в кухне: сидит под столом, выглядывает одним глазом из-за ножки. Что-то натворил, подлец, думаю, нагадил, стыдится, милый, живой — а я уж думал: сдох...

Но что-то запаха не слышу.

— Ну, — строго спрашиваю собаку. — Где дерьмо?

Он стрельнул глазом в сторону. Я. Медленно. Посмотрел. Туда. А там...

Я сначала решил — это водопроводчики приходили. После них обычно, такая картина

бывает — будто небольшую бомбочку взорвали. Линолеум дыбом, плитус выворочен, трубки от стиральной машины вырваны...

— Что молчишь? — спрашиваю пса. — Кто тут был?

А у него вид — душераздирающий. Он ведь большой, под столом не помещается, и вот — сидит, а голова как будто в плечи вбита, глаза выпучены и посинели от нечеловеческого раскаяния. И дрожит.

И тут до меня доходит.

— Так это ты, что ли?.. А зачем?

Тихо так спрашиваю, задумчиво.

Не, мужики, я искренне не понимаю — за ч е м???

Женщины! Может, вы объясните, непредсказуемые вы наши, на фига трубки-то рвать от стиральной машины?

Дети! Вы же все знаете лучше предков! Ну? Что делать-то?

Я ему слова не сказал. Обследовал дыру: может, мышью пахнет? Нет, не пахнет. И никто не скребся, — я ночью вставал, прислушивался: все как всегда... Вообще непонятная история. Мертвый угол — зачем туда лезть? И тараканов у нас нет...

Я на всякий случай обработал дыру инсектицидом, потом еще антигрызней побрызгал какой-то щенковой, заделал все обратно. Ушел.

Прихожу — опять та же картина.

Ну, это уже фарс. Второй дубль трагедии — это фарс. Я взял тапок и хотел отделить ГАРЬКУ прямо под столом... А тот на меня как рванет! Мой ГАРЬКА! Которого я кормил-поил, глаза ему мыл, уши чистил, когти стриг...

Пошел я и с горя напился с другом Кульковским.

— Вот этими самыми руками песика вынашивал, — говорю.

Сидим там, вискарь глушим с тоски.

— Вот этими самыми руками массаж ему сердца делал, — жалуясь другу. — Пшено ему покупал, геркулес, калтык, ливер, мозги... Отруби мне руки! Скорми этому гаду, пусть он в ад собачий попадет.

— Это все демократия! — о своем тоскует друг Кульковский. Он политехнолог,

специалист по технологии измены. — Давай лучше песню споем:

Если друг оказался вдруг...

Поплакали, разошлись. На третий день — опять та же картина: кухня разрыта, собака под столом прячется.

Ладно. Я тогда по технологии, спокойно так раздеваюсь. Мою руки с мылом. Беру строгий ошейник, цепь. Подхожу, наклоняюсь, бестрепетно на-деваю ошейник на питбуля, вывожу его на цепи из-под стола (идет, между прочим, как барашек). Привязываю к трубе. Снимаю ремень, складываю вдвое. В точности по технологии указываю бандиту на развороченное им место и говорю вполне серьезно:

— Плохо сделал. — И хлесь его поперек слоновьей задницы. И снова:

— Плохо сделал! — Хлесь.

— Плохо сделал! — Хлесь.

Три удара за три эпизода, все честно. И ведь не пикнул бандюган. Все понял. Отвязал его, привел в коридор, указал на порог: «Место».

И вот результат, господа. Сидел он там до ночи, не шевельнувшись. Мне даже показалось — торжественно сидел, как будто награду получил. Место указали собаке — и стала собака спокойна и всем довольна. И что самое поразительное — все команды вспомнила и теперь с полупешота их выполняет, причем с удовольствием.

На радостях позвонил я другу-политологу. Рассказал.

— По технологии! — делаю вывод в конце рассказа. — По технологии их надо пороть!

— Лучше по жопе, — говорит Кульковский, политолог. — Я давно говорю — пора в Россию телесные наказания вернуть.

Гулять!

На старости лет у нашего Гарибальди приключился энурез. И смех, и грех. Лечили, лечили — все без толку: нет-нет, да и подмокнет боец. Ругать или стыдить бесполезно, и даже вредно. Выручал юмор. Шутки

типа загадки: чем ГАРЬКА отличается от фасоли? Ответ: фасоль мокнет и есть не просит, а ГАРЬКА мокнет и... есть просит ВСЕГДА! Аппетит — как у здоровой собаки.

— Да он симулянт!

Стали в шутку звать Симулянтом.

Вообще, псевдонимов у нашего собаки-на, как у индуистского бога — сорок тысяч. И все почему? Потому что он все понимает. И встает проблема: как сказать про него в его присутствии? Как его назвать, чтобы он не понял?

Вот сидим у телевизора. Я говорю:

— Ладно, пока реклама, пойду, собаку выведу.

Гром на Байконуре — это Гарибальди, почуяв прогулку, ракетой стартует с места. Подстилка летит в одну сторону, ГАРЬКА в другую — одеваться: ошейник! где мой ошейник?!

— ГАРЬКА! Гад!! Не пыли!!! Какой тебе ошейник — ты потерял его в прошлом году!

Одеваться с ним в одном помещении технически невозможно. Он не путается под ногами, нет, он бьется о хозяйские ноги с такой страстью, что бедный хозяин летит в стенку, охает и сползает на пол:

— Надо было кошечку завести...

На другой день опять сидим у телевизора. Я, зеваая, опять:

— Ладно, пока реклама... — Осекшись, смотрю на спящего пса. — Пойду дуболома... эээ... провожу...

Слово «выведу» тоже нельзя произносить: «Байконур» будет всем.

Но скоро Гарибальди и «дуболома» выучил, и «свинью», и «харю», и «морду свинскую». Постепенно все слова, пригодные для обозначения буйного члена семьи, стали опасными. Этот псих все понимал и взрывался лютой радостью. Великий и могучий русский язык обмелел и кончился. Его схавал еще более великий и могучий Гарибальдиссимо. Мы перешли на английский:

— Айм гоуинг ту... Черт!

Ракета стартует с подстилки — все в укрытие!

В чем дело? Откуда он знает английский?!

Перестали разговаривать о собаке вообще. И что? Пес научился отличать рекламный ролик от фильма! Как только фильм прерывается рекламой — так он уже на старте: мышцы дрожат, глаза горят... Я молчу, медлю — потягиваюсь в кресле, потом не спеша встаю, что-то поправляю, иду нарочно не в ту сторону, боком, задом пчусь в сторону прихожей, надеваю куртку жены, кроссовки сына — тем самым сбиваю с толку собакина, и он, сбитый с толку, наблюдает за мной неподвижно. А я тем временем уже оделся и говорю ему:

— Медленно, очень медленно иди ко мне... Скотина! Лежать!

Бесполезно! На меня уже летит ракета с атомной боеголовкой радости и счастья. Я уворачиваюсь, накидываю на нее аркан, наматываю поводок на кулак, весь обматываюсь поводком, чтобы мне не оторвало руку, жена тем временем распахивает дверь... Я вылетаю вслед за Гарибальди на улицу —

ГУЛЯТЬ!

Конец Весельчака

Кончается бумага, кончается книжка, и жизнь собачья идет под уклон... Детям и особам чувствительным дальше можно не читать. И так понятно, чем все кончится. Чем еще она может кончиться, жизнь? И мне было понятно, хотя думать об этом не хотелось, но пришлось задуматься, но как-то не поверилось, но, но, но... Короче, —

Утром варю яйцо. Мой рецепт: воду не солить. Баловство это, солить воду для варки яиц — лишнее движение. И никаких таймеров — когда вода закипает, я запеваю песню:

Жить без яиц, быть может, просто — Но как на свете без яиц прожить?

И дальше три куплета аполгии яйца — символа жизни. Когда песня кончается, яйцо готово. Люблю его всмятку. Без подставки, на кончиках пальцев чищу верткое и гадаю на скорлупе, какой будет сегодня день: если удастся слупить всю скорлупу крупными ос-

колками и не облиться желтком — все будет супер у меня и у моих близких, и у дальних тоже — вообще всем день будет улыбаться и нравиться.

В тот день я кокнул яйцо в раковине, выливая из кастрюльки воду. Ни одной скорлупки не смог отодрать, развалил эту беложелтую хрень на части, весь перемазался. И в довершение наступил на собаку, которая, конечно, тут как тут — стерегла мою оплошность со шкурным своим интересом. Так я подумал грешным делом. И ошибся.

На меня смотрели несчастные собачьи глаза, они смотрели именно на меня. Не на лакомство — на меня. Это было настолько необычно, что я сел на корточки и протянул остатки яйца Гарибальди. Тот машинально понюхал мои перемазанные желтым пальцы и отвернулся.

— Ты чего? — опешил я. Позвал заискивающе: — Свин!

Никто мне не откликнулся. Не было здесь больше свинов — кончились. Я растерялся, давай играть — вскочил, зарычал: «Битва, Гарри! Битва!», пихнул питбуля ногой в грудь... Гарибальди на меня странно посмотрел и лег. Меня так и ошпарило стыдом: он заболел, я пихнул больного. В панике кинулся в коридор: «Гулять, Гаренька, гулять!» — никто на мой зов не вышел.

Я медленно вернулся в кухню. Потрогал псиный нос: сухой, горячий. Вызвал сына. Ждал. Сидел напротив собакина, ловил его взгляд — безуспешно, Гарибальди на меня больше не смотрел. Сын приехал, придавил меня взглядом, сгреб в охапку питбуля, как овцу, отнес в машину. На мой вопрос буркнул: «К ветеринару».

Как будто я виноват!

Когда-то они оба были маленькие... Один держал палку над головой, другой прыгал за ней. «Кидай! Кидай!» — кричал я, но щенок не давал мальчишке размахнуться. Не получалась дрессировка. Теперь один выше меня ростом, другой старше меня годами: собачий год, говорят, в семь раз короче человеческого. Девять умножить на семь — и вот Гарибальди уже шестьдесят три. Старик. Разве я виноват?

— Да так, укол вкатили в толстую задницу, — нарочито бодро ответил Алексей на мои «Ну, что? Ну?». — Кровь забрали на анализы.

Гарюн болел молча. Не скулил, не стонал. Не смотрел в глаза. Молча перемогался. Ходил медленно, выгнув спину, садился осторожно, ложился тихо, почти не ел — оставлял в миске молоко. Это казалось самым страшным почему-то — оставленное в Гарькиной миске молоко. Невиданная вещь, небывалая потому что. Никогда прежде Гарибальди ничего не оставлял, жрал все — пригоревшую кашу, кости, плавники — «утилизатор», называл его Лешка. Пустая миска, вылизанная до блеска, — вот наша норма. А тут в ней — молоко! Где Гарька?!?! Верните нам собаку!!! Миска у Гарьки на подставке, специальная поилка питбулевой высоты... ы...

Мы страха не выказывали, пытались фамильярничать с быкодавом по-прежнему. Но по-прежнему уже не получалось. Не было быкодава — был неуклюжий интроверт, что-то переживающий внутри себя важное, нам, дуракам, не понятное.

Врачи сказали — у собаки рак. Предложили удалить семенники. Назвали стоимость услуги. Ничего не гарантировали.

Разные владельцы в таких случаях поступают по-разному. Усыпают. Выгоняют. Или никак не поступают, — тоже выход. Грамотные собаководы советовали нам усыпить бракованную особь и завести новую. Но мы не грамотные оказались, мало того — мы оказались упорствующими в своем невежестве. Мы собрали деньги на операцию.

И вот в один ненастный день Алексей привез из ветлечебницы Гарибальдино — пьяного от наркоза, с катетером на лапе и... без яиц.

Отводя глаза от опустелого собачьего зада, облитого зеленкой, мы с сыном мастерили нашему кастрату труссы. Доктор прописал: чтобы пациент не вылизывал рану — десять дней носить труссы. Жена варила больному диетическую похлебку.

Рано утром мы проснулись от смачного чавканья — это протрезвевший Гарри снял

труссы и вылизал-таки свою зеленую промежность. Мы все неодобрительно высказались на эту тему, Гарри хмуро нас выслушал, а потом аккуратно содрал зубами бинт с лапы и вынул из вены катетер. Мы не могли этого видеть, поэтому разошлись по комнатам в смятении чувств.

Как с ним разговаривать теперь? Когда он без яиц?

Мы исподтишка приглядывались к парню: не станет ли мстить? Не перестанет ли быть парнем? Не околеет ли вообще — от обиды и сепсиса?

Ничего, оклемался чувак. Понял, кажется, и простил. Кололи ему антибиотики мы с сыном вдвоем: пока Алексей возился с ампулами, я объяснял Гарюше необходимость укола, укладывал его на бок и вежливо придерживал. Пациент дрожал, но не вырывался.

Вежливые мы все стали, сил нет. Никаких больше прозвищ, остались — Гарюша да Рюша. Кончились драки, закидоны и прочий шизняк — кончилась история Гарибальди Весельчака. Кончилась.

Новый Рюша привязался к маме. Пасется теперь на кухне, вежливо принимая подачки, ходит за ней хвостом, следит за настроением в доме. Всех понимает. Кого обидели — утешит, кто весел — с тем поиграет в мячик. Идеальное, блин, домашнее животное.

А сегодня что выдал. Жена пришла из парикмахерской поздно. Рюша ждал — сидел перед дверью, головой крутил. И вот, звонок по домофону. Я, с иронией:

— Хм, кто это может быть в такой час?

Рюша, на полном серьезе, басом:

— Мам-ма.

Я онемел.

Екатерина Симонова

СОФЬЯ, глядящая в колодец и видящая на дне мертвую звезду/ голубя невинности



Софье С.

1

две женщины в черном,
с одинаково развевающимися волосами,
с раскачивающимися, точно маятник вечный, морями,
лесами, цветами на заднем плане, сожженным жнивьем,
(что это — горизонт или складки в портьерном сонме — неважно под этими небесами),
произносят что-то безмолвными голосами,
выдыхая в воздухе сумеречном и морозном твое
лицо — оно, как безумное воронье,
над нами колышется и кричит,
и зимнее поле вдали выгибается, будто щит,
и возвращает женщинам то,
что тебе самой, спящей сейчас в доме чужом, непонятно,
а потому — вероятно.

2

сад раскидывает над тобой узловатые ветви,
все в цветах, зажженных, как свечи,
и, пока в этой жизни заняться нечем,
ты сидишь и молчишь, на коленях сложив руки,
над тобой ветви сплетаются и постукивают, как корабли на верфи,
золотую бумагой их обертывает вечер,
ты закрываешь глаза, и ветер
расплетает долгие волосы перед короткой разлукой,
в сердце твое без единого звука
вонзая иглу печали,
и, от себя самой уставая,
ты забываешь, что от любого недуга
время излечивает сердце и память,
даже и от того, что уже не исправить.

3

вода не принимает ее отраженья,
покачивающегося на воде,
точней,
не отпускаемого тобой,
и в этом — ощущение не прощенья,
а прощания, и не мне говорить тебе,
что это не так, в своей собственной невыносимой тьме
блуждающей в поисках той,
что всегда за моей спиной — эвридикой и эхом, и вновь не увидеть ее лица,
чистого, будто звон падающего кольца,
сияющего серебром, хрупкой звездой,
освещающего самый тихий на свете дом — в ложбинке между холмов, как медальон.

4

в центре мира ты вышиваешь рыбу, пожирающую корабли,
жесткое покрывало едва гнется от серебра.
вечное порожденье мужского ребра,
ты не находишь слов,
чтобы признать и признаться, что видишь там, вдали,
сквозь подзорную трубку своего слабого естества,
пока за спиной журчит круглый фонтан,
пока с черепичных крыш узких домов
янтарное солнце скатывается, как с горки, в смердящий ров
улиц, кишаших людьми,
которых море смоев однажды, точно следы на песке, и, заломив

яркие руки, созвездья во тьме веков
будут петь погребальную песнь
так долго, как ты наконец понимаешь и произносишь: «Я есмь».

5

складки твоих одежд шумят, ах, ежевичный куст,
когда ты проходишь мимо,
опустив глаза, полные тайны, будто летучего дыма
стеклянный сосуд,
и молчание из твоих уст
вырастает и расцветает неудержимо
белой розой, лепестки которой, как в пантомиме,
разворачиваются разом, в один вздох, к себе влекут,
точно свет, удаляющийся во мглу,
взгляд охотницы, вырезанный в старинной картине
посередине,
но цветок рассыпает пышную голову на ветру,
приносящем мне твое имя,
называемое другими.

6

уронив в колодец лицо,
будто кольцо, видишь, как по нему пробегает тень,
как оно, в последний раз сверкнув на черном дне,
закрывает глаза и пьет вино
терпкой и сладкой вины, вечной, как солнечное колесо,
в любой божий день
оставляющее на небосводе багровый закатный след,
как пощечина просыпавшей все пшено
служанке — и разгорается на другой щеке пятно
медленного стыда, так что уходишь в себя, прочь,
пока тебя не находит ночь,
поскольку лунное веретено,
привычно прядущее эту печаль луча,
освещает тебя лучше, чем любая свеча.

7

пока вода тебя еще несет,
одежд заплаканных запутанную сеть
на дно утягивая, будто свет

звезды и снега под холодную белеющей звездой,
вновь под копытом хрустнет лед,
о, тонкий, изнутри, как призрачная клеть,
дыханьем рыбьим затуманенный, не даст допеть, допеть
тебе себя, поскольку слов окно
распахнуто в безмолвие, и в нем, шумя травой
воды, все начинается сначала —
ты понимаешь, что тебя так мало,
ты — устричные створки под рукой
Всевышнего, на бесконечном темном берегу
оглохшего над морем раковин, поющих на ветру.

8

высохшую звездочку гвоздики, соцветье
окаменевшее подносишь к губам, пробуешь на язык,
глядя в окно, где пластинкой потрескавшейся бирюзы
вклеено старое небо,
полускрытое садом, застрявшим тоже в окне, как междометье
восхищенное в мочке едва розовеющей тишины,
серьгою, на которую желтым глазом совы
смотрит луна два века,
повторяя себя саму, точно эхо,
на дне фонтана,
пока время с тяжестью левиафана
переплывает вечность, где караваем хлеба
тонет земля, время собой не насытив, точно смешная малость.
но тебе много даже того, что осталось.

9

безумие тебя не подводит,
бродит за тобой, будто ласковый черный кот,
смотрит умильно в цветущий рот,
повторяет за тобой любое
движенье, форелью на мелководье
скользит по песчаному дну души, в которое прячет живот
заходящее солнце, деревянно изогнутый небосвод
вымазав густо краскою золотою,
тонет в которой легкое голубое,
бабочки тучею вязнут и человек.
не поднимая тяжелых век,
ты понимаешь, что это — море,
высохшей солью пропахшее, будто кровью
сон у твоего изголовья.

10

дерево спиливают, пока зима,
ветки падают срезанными волосами на лед,
остаются лежать на нем,
как пауки,
но по утрам сквозь туман,
обертывающий пространства жесткую плоть
сырым полотенцем, тебе вместо ветвей чудится спящий плод,
чудесный, сжимающий кулаки,
и ты задыхаешься от необъяснимой тоски,
выходя на порог,
вшитая накрепко в темный дверной проем,
как полустертые шелковые колоски
в кайму домашнего платья,
сушащегося на бельевой веревке, будто распятье.

11

тени листвы откидываются на траву
купальщиками юными, густую вишню
таскающими за хвостики из корзинки, но где ты, любивший
меня не так, как другие?
если увижу — опять обману,
потому что, чем ты ко мне склоняешься ниже,
чем старательней утро росу на ресницы ниже,
чем лукавей на стенах улыбаются нимфы нагие,
тем больше становимся мы чужими,
потому что — горе мне, горе —
я не знаю, что это такое:
когда ты веришь, что тебя не обидят.
и потому одиночество тихой Арахной
прядет из моих волос ковер для бессонного страха.

12

каменные маски прибиты к стене
твоего дома, изрытого временем и дождем,
пахнущим горячей горькой травой, немым ручьем,
смывающим известку с повторяющих себя самих лиц,
пока ты не остаешься наедине
с непроходимой ночью, которую, Боже мой, только вдвоем
можно вытерпеть, освещая маленьким фонарем
утешающих нас зверей и птиц,
нарисованных и живущих в саду страниц,

но ты закрываешь книгу всегда
на половине, когда
я лишь начинаю верить, что прекрасен и чист
может быть мир, засеянный, точно цветущий жасмина сонм —
звездную пылью, и полный, будто кувшин с вином.

КАМНИ

1

пока, мертвой, ей забивают
камнями рот,
ты стоишь и смотришь:
как бы не укусила кого за палец,
как бы не смогла прийти после
выпить жизнь,
взять чужое, как будто свое,
не пришла посмеяться в лицо,
пока ты стоишь перед ней, недвижим
от горечи и тоски по тому, что прошло, но было.
раньше она любила
воду с медом и щепоткой корицы,
желтые горячие ткани, расшитые красными цветами,
духи с ароматом вербены и гвоздики.
раньше она говорила:
«Жду тебя, моя радость», «Скучаю», «Возвращайся скорее»,
а потом начала говорить:
«Уйди», «Отстань» и «Как я от тебя устала».
женщина есть вождение и души погибель.
женщина — это то, что чуму призывает.
женщина — это то, что должно быть чумою забрано.
женщинам, как и чуме, нельзя доверять
даже после их смерти.

2

Женский сон:

река течет,
река движется,
река изменяется.
изменишься ли ты,

если я посмотрю на тебя так,
как смотрят в воду
на свое отражение?

3

Мужской сон:

ты видишь странную птицу,
черную с белой головой, доктор чумы:
большой клюв, непонятный взгляд.
свет ножницами срезает с женщины,
стоящей позади,
все лишнее:
всю одежду, все слова, все узнавание.
и она становится такой, какой и должна быть:
тело, полупрозрачное, как замерзшая вода,
взгляд прямо на тебя,
не вправо, не влево, как обычно,
а — на тебя.
странная птица садится на ее плечо,
к ногам ее прижимается красный зверь с раздвоенным языком.
женщина протягивает вперед правую руку
и начинает что-то говорить:
слова облаками морозного пара
выходят из ее рта, и ветер уносит их.
ты просыпаешься.
ты всегда просыпаешься в один и тот же момент:
она что-то говорит тебе,
но ты никогда ее не слышишь.

4

свет дрожит в саду, как желе,
над травой, над каменной скамьей,
спелые груши
падают в траву,
вязнут в послеполуденном свете,
все живет,
все цветет,
все повторяется.
ты открываешь двери, ты заходишь в дом,
в доме темно и прохладно.
в доме никого нет.

только она смотрит в зеркало,
как будто спит.
«Что с тобой? — спрашиваешь, — Что случилось?»
«Тоска, — отвечает она, не оборачиваясь, —
такая тоска».

5

море затапливает город,
сначала по щиколотку,
потом по пояс.
море заходит в дома,
под столом прячется,
как малый ребенок,
ночным ужасом под постель заползает.
пытаешься поймать жену —
вылавливаешь рыбу
остроносную, острозубую, хвост выгибающую до головы,
им бьющую тебя по рукам отчаянно:
не сохранить тебе ни того, ни другого.
море уходит обратно.
воды отраженье,
кажется, дома колышет, наклоняет, как корабли.
и медленно в соленой воде
продолжают гнить древесные сваи.

6

на одном мосту встречаются счастливые влюбленные,
с другого моста несчастные влюбленные
бросаются в воду,
на третьем — скользком — продают рыбу и устриц,
от четвертого в любое время суток
пахнет духами и розовым маслом,
пятый, как безе, бел и воздушен
и украшен головами тритонов,
раздувающих зверски ноздри и бороды,
с шестого, зарешеченного, последний взгляд на город
бросают те, кому города больше не увидеть,
а с седьмого
виден твой/ее дом,
и окна твоей/ее спальни,
и видно в темноте,
как скользит из окна в окно кто-то,
державший подсвечник с тремя свечами.

7

серые облака,
 зеленое море,
 желтый песок.
 пока она не знает, что ее кто-то видит —
 она улыбается и почти спокойна,
 глядя, как белое веретено пены
 крутится быстро в пальцах морских.
 и тебе становится от этого неприятно
 и тяжело:
 легче думать,
 что она устала,
 или больна,
 или с ума сошла, наконец.
 потому что как может не нравиться
 жить с тобой,
 жить с тобой в одном доме,
 жить с тобой одним домом?
 как так можно:
 кататься, как сыр в масле,
 а самой говорить, что это — сыр в мышеловке?
 и ты понимаешь, что можно не только любить,
 но и любить, ненавидя.

ты зовешь ее, она оборачивается.
 красны носки ее туфель,
 красны ее губы,
 и яблоко ее в руке краснее старческих румян и юной крови.
 яблоко падает в песок,
 ветер тут же замечает его песком,
 у тебя под ногой громко хрустит сломанная раковина.

«Дурной знак, —
 почему-то равнодушно думаешь ты, —
 Нехорошая примета».

8

все, что осталось от прошлой жизни:
 сны и духи.
 она расставляет перед собою флаконы:
 из розового стекла в форме яблока —
 пахнет земляникой и розой.
 серебряный, в виде дерева
 с обвившей его змеей — пахнет мускусом и амброй.
 крошечный и прозрачный —

пахнет персиком весенним.
 круглый, из китайского голубого фарфора —
 пахнет ландышем и фиалковым корнем.
 если открыть их все разом —
 почувствуешь не запах ушедшей радости,
 но запах наступившей печали.

9

с высоты птичьего полета город похож
 на сжимающие друг друга крабовые клешни,
 поедающих друг друга змей.
 арки, отражающиеся в воде,
 подводные галереи,
 повторяющаяся жизнь —
 вверх ногами, вниз головой.
 и лодки сиамскими близнецами скользят по каналам,
 сросшись спинами —
 одна над водой,
 другая — в ней.
 если вдуматься,
 на самом деле мы все уже давным-давно утонули.

10

на самом деле времени не существует.
 только сумерки, в которых
 журчит вода,
 только наклоняющаяся над водой
 ветка жасмина,
 только ветер,
 раскачивающий ее над водой,
 любое отражение в которой — уплывает,
 не возвращаясь.

поэтому, глядя на нее,
 ты никак не можешь понять,
 она ли сама перед тобой до сих пор
 или только ее отражение,
 задержавшееся.

11

ты понемногу начинаешь ее бояться:
 начинаешь говорить вежливее, чем обычно,
 стараешься видеть реже,
 стараешься совсем о ней не думать,
 и, конечно, последнее
 никогда не выходит.

12

печаль — это то, что приходит после,
 когда больше ничего не осталось,
 когда становится жаль
 не того, что жаль,
 но чего-то другого,
 безымянного, легкого,
 как запах жасмина над утекающей водою,
 когда прощение приходит
 вместо прощения,
 когда забывается все сказанное
 и не вспоминается более ничего.
 только вода укачивает дом,
 как ребенка:
 ничего, ничего, все будет хорошо,
 все просто будет.

Киносценарий

Алексей Лукьянов

Миленький (Пятнадцать голых баб)



Мельтешение женских фотографий различной степени обнажённости. Ноги, бёдра, животы, лица, бюсты. Крупный план — женская грудь в драпировке. Отъезд камеры — это Статуя Свободы.

Нью-Йорк. День. Скайлайн. Бруклинский мост. Бесконечные потоки машин. Уолл-стрит. Бесконечный людской поток. Пятая авеню. Центральный парк. Здание галереи. Очередь. Афиша: Svyatoslav Milenky. Беззубый бородачатый старик.

Галерея. День. На стенах — фотографии в самодельных паспорту. Женские лица и тела. Публика ходит от фотографии к фотографии, разглядывает, обсуждает, хихикает. Кто-то стучит по микрофону, шум толпы стихает.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Здравствуйте, дамы и господа, мы рады приветствовать вас на выставке одного из ярчайших и самобытнейших художников на пространстве бывшего Советского Союза — Святослава Миленького.

Камера останавливается на фотографии. Мутная нерезкая картинка, пейзаж с мутным пятном на заднем плане.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Святослав Миленький прожил долгую и трудную жизнь и не был признан на родине.

Тот же пейзаж, но пятно уже превращается в многофигурную композицию. Это женщины — в купальниках, в халатах, в полурасстёгнутых блузках, под которыми видны лифчики. Крупные планы: раскрасневшиеся от погоны и гнева женские лица, губы чётко артикулируют ругательства.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Всё творчество художника посвящено сокровенной красоте женского тела. В тоталитарной России нагота считалась аморальной, особенно если наготу фиксировала фотоплёнка. Но Святослав Миленький был выше социалистического ханжества и бесстрашно фотографировал русских красавиц в их первозданной красоте... (в стору) Кто это писал? Уволить немедленно.

Флэшбек. Провинциальный город. День. Толпа разъярённых полуодетых женщин преследует бомжа с самодельной фотокамерой на груди. В спину бродяги ударяют тапочки, бутылки, камни. Штопаное-перештопаное пальто, из-под которого торчит грязный свитер, штаны в заплатах, туфли, обмотанные столярным скотчем. Крупный план: нечёсанные грязные патлы с колтунами, клочная борода с остатками каши и хлеба, беззубый улыбающийся рот.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Мы расскажем вам историю жизни этого великого подвижника.

В бомже мы узнаём Миленького. Он бежит и весело смеётся. У него лицо абсолютно счастливого человека. Конец флэшбека.

Вокзал. Утро. Чистенький перрон, транспаранты и лозунги по стенам. Прибывает поезд. Встречающих на перроне нет. Открывается дверь вагона. Проводник старательно протирает поручни. Надраенные до зеркального блеска туфли. Остро отточенные брюки. Кожаный «дипломат». Модный пиджак. Белая сорочка и дорогой галстук. Выбритое до синевы серьёзное лицо. Строгая стрижка. Это Спиридонов. Проводник подобострастно уступает дорогу дорогому пассажиру. Спиридонов сходит на перрон. Из соседнего вагона силой высаживают хиппушку Таисию.

ТАИСИЯ (упираясь): Не имеете права! У нас свободная страна!

НАЧАЛЬНИК ПОЕЗДА: Нечего тут. Разъездились. Сымай её, Копылов!

Проводник тащит Таисию. С девушки сползают джинсы, под ними изрядно ношенные, почти дырявые трусы. Копылов бросает джинсы в сторону, тащит Таисию за голые ноги. Спиридонов равнодушно проходит мимо, к вокзалу. Из вокзала спешат два заспанных милиционера, на ходу застёгивая кители. У дверей вокзала Спиридонов оборачивается. Поезд трогается, проводники на ходу запирают двери. По перрону милиционеры тащат упирающуюся Таисию в трусах, один из милиционеров держит под мышкой драные джинсы и дорожную суму нарушительницы.

ТАИСИЯ: Сатрапы! Уроды! Помогите, насилуют!

Спиридонов усмехается, входит в здание вокзала и тут же выходит на привокзальную площадь.

Кабинет председателя горисполкома. Утро. Окно в кабинете приоткрыто, слышен шум работ. Председатель сидит за столом, подписывает какие-то бумаги. На столе пиликает селектор.

ГОЛОС СЕКРЕТАРШИ: Иван Иванович, к вам посетитель. Говорит, из Москвы.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Запускайте.

Входит Спиридонов. Без стеснения проходит к столу, отодвигает стул, садится. Председатель спокоен, бесцеремонность посетителя его не смущает.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Здравствуйте. Чем могу быть полезен?

СПИРИДОНОВ: Меня зовут Спиридонов Степан Борисович, я представляю здесь интересы государства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Как же, как же. Мы все их здесь представляем. Удостоверение можно ваше? (внимательно ознакомившись с документом). Полагаю, вы к нам в связи с Миленьким приехали.

СПИРИДОНОВ: Не совсем. Я к вам приехал в связи с визитом американской делегации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А что делегация? Облисполком контролирует, политбюро контролирует, ваши товарищи тоже контролируют. Мы вписываемся в сроки. Американцы как раз попадут на майские праздники! Вы же видели — на улицах полным ходом субботник идёт!

СПИРИДОНОВ: Вы меня не дослушали. Ваш Миленький сейчас чрезвычайно популярен на Западе. Те его фотоработы, которые чудом проникли за рубеж во времена застоя, стоят баснословных денег. На аукционах «Сотбис» и «Кристи» они стоят немногим меньше Кандинского и Малевича.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: И что?

СПИРИДОНОВ: Вы не понимаете. Возможна идеологическая диверсия. Попросят американцы встречи с этим вашим самородком и предложат ему политическое убежище.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Что? Миленькому? Убежище? (истерически смеётся, нажимает кнопку селектора). Тамара Степановна, чаю нам сообразите, пожалуйста!

СПИРИДОНОВ: Я сказал что-то смешное?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (вытирая слёзы): Вы хотя бы представляете себе, кто такой Миленький?

СПИРИДОНОВ: Диссидент махровый, вот кто.

Открывается дверь. Тамара Степановна заходит задом, оборачивается. На её руках поднос. Красивые фарфоровые чашки, заварник, сахарница.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (хохоча): Тамара Степановна, спасибо, голубушка. Распорядитесь, чтобы Леонтьев машину подогнал минут через двадцать, к Миленькому поедем.

ТАМАРА СТЕПАНОВНА (недовольно): Опять этот Миленький. Дурдом по нему плачет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Думаете? А вот товарищ из госбезопасности считает, что в нём кровно заинтересованы наши бывшие враги.

ТАМАРА СТЕПАНОВНА (заметно оживившись): Вот и хорошо, пускай забирают! Зачем он нам? Асоциальный тип! Нехай катится на все четыре стороны, маньяк сексуальный!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (обращается к Спиридонову): Вот видите — народ отпускает Миленького на все четыре стороны. (секретарше) А между тем, любезная Тамара Степановна, наш гость утверждает, что работы Миленького на Западе больших денег стоят. Прямо как Малевич и этот... как его... Кандинский!

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Тьфу, дерьма-то. Я сама лучше нарисую!

Секретарша уходит, едва не хлопая дверью.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Серьёзная женщина! Беспартийная только. Иначе бы далеко пошла (разливая чай). Сейчас попьём чайку, и поедем смотреть нашего Миленького. Кстати, обра-

тите внимание — *(кивает на чашки)* производство нашего завода керамики. Видите, какая расцветка весёлая? Тоже Миленский. Он, засранец, что ни придумает — всё весело выходит.

Город. Утро. «Мерседес» председателя исполкома мчится по городу.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вот, видите — готовятся, готовятся люди! При мне ещё ни разу город не опозорился, кто бы ни приезжал!

Народ с граблями, лопатами, носилками сгребает сухую траву, прелую листву. Школьники белят стволы деревьев. Пускают белый дым в яркое весеннее небо костры. Вокруг костров носятся дети разных возрастов.

СПИРИДОНОВ: Всюду жизнь...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Совершенно справедливо!

СПИРИДОНОВ: Если у вас такой ажур, то почему вы терпите в городе этого Миленского?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тут, Степан Борисович, политические моменты учитывать требуется. Предприятие у нас в городе одно — завод керамических изделий. Я сам с него начал. Производим санфаянс, безделушки разные, раньше очень много идеологической продукции лепили... потом спрос упал. Так сейчас наш завод только потому и функционирует, что по эскизам Миленского продукцию гонит. Разбирают, как горячие пирожки.

СПИРИДОНОВ: Вас послушать, так он просто герой соцтруда!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А вот антисоветчину вы мне не пришьёте. Ну какой Миленский диссидент? Бомжара он типичный, сами сейчас увидите. Но! — и тут прошу занести мои слова в протокол — никуда мы его не отпустим. Такая корова, как говорится, нужна самому. На нём экономика держится! Вот, кстати, мы и приехали.

СПИРИДОНОВ *(оглядываясь, морщась):* Вы куда меня завезли?

Городская свалка. День. Спиридонов и председатель выходят из машины. Вокруг, сколько видит глаз, свалка. Летают вороны, бегают облезлые собаки. Коптят разноцветными дымами костры.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(театрально):* Это, Степан Борисович, постоянное место жительства нашего благодетеля и бессребреника. Это городская свалка.

СПИРИДОНОВ: Вы что, американцев тоже сюда привезёте?!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А почему нет? У нас гласность. У них ведь точно такие же свалки, я в кино видел. Осторожнее, идите по дощечкам.

Председатель и Спиридонов идут по узким, чавкающим в грязи доскам. Вокруг них возвышаются кучи мусора — пакеты из-под молока, мешки со строительным мусором, старые холодильники, стиральные машины, швейные машинки и просто бытовой мусор. За очередным мусорным холмом встаёт хибара, в которой живёт Миленский. Это фургон, снятый с автозак. Автозак разрисован голыми бабами. Из трубы на крыше фургона идёт дымок.

СПИРИДОНОВ: Это что? Это здесь?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Что, впечатляет? Это вы ещё внутрь не заходили!

СПИРИДОНОВ: Я не буду туда заходить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(сердито):* Вот не надо сейчас этого вашего столичного чистоплюйства. Вы на работе? Вот и выполняйте эту работу как следует! Противно вам? А мне, думаете, не противно? А я сюда в любое время года захожу, вот уже лет пятнадцать как! Ещё при покойном Леониде Ильиче начал, царствие ему небесное!

Председатель решительно направляется к автозаку и стучит в дверь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Миленский, отворяй, я гостей привёл.

В автозаке грохот, ругательства, звон битой тары. Слышатся шаркающие шаги.

ГОЛОС МИЛЕНЬКОГО: Кто там припёрся?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(принюхивается, потом заговорщицки подмигивает Спиридонову):* Самогон варит, засранец! *(громко, Миленскому)* Миленский, отпирай, это свои!

ГОЛОС МИЛЕНЬКОГО: Иваныч, ты, что ли?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Узнал, бомжара! Отпирай, говорю, гостя из столицы к тебе привёл!

Дверь отпирается. Из полумрака фургона выступает Миленский. Он одет и выглядит точно так же, как и выглядел в самом начале фильма. Спиридонов морщится.

МИЛЕНЬКИЙ *(председателю, гневно):* Ты кого сюда привёл?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А что не так?

МИЛЕНЬКИЙ *(тыча пальцем в Спиридонова):* Это же особист!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *(оглядываясь за спину):* Да с чего ты взял?

МИЛЕНЬКИЙ: Да у него на фотокарточке нарисовано — лейтенант госбезопасности!

Председатель и Спиридонов переглядываются.

ПРЕДСЕДАТЬ: Проницательный, засранец! *(Миленскому)* Ладно, хватит тут понты колотить, диссидента-нелегала изображать, приглашай в гости. Да не прячь ты свой аппарат, за километр сивухой тащит. *(Спиридонову)* Чего стоишь? Заходи уже!

Хибара Миленского. День. В тесном фургоне центральное место занимает буржуйка с самогонным аппаратом на ней. В топке гудит пламя. Спиридонов озирается. Обычный бомжатник с кучами тряпья по углам, два комода с оторванными ручками, развалившееся кресло, лежанка, заваленная шубами, шапками и валенками. Стены завешаны чёрно-белыми фотографиями голых женщин, полуодетых женщин, одетых, но принявших двусмысленную позу женщин. Фотографии плохого качества, зато в любовно оформленных паспорту. Тут же на гвоздике висит самодельная фотокамера. Спиридонов делает шаг, чтобы как следует разглядеть снимки и аппарат.

МИЛЕНЬКИЙ: Эй, пархатик, руки в гору! Не трогай!

Председатель укоризненно смотрит на Спиридонова и качает головой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Миленский, ты бы полегче с гостем-то. Как-никак, человек при исполнении.

МИЛЕНЬКИЙ: Да мне пох..., при исполнении он или не при исполнении. Я этих краснопузых ещё с того времени, как меня из комсомола попёрли, ненавижу. Вся жизнь мне испоганили.

СПИРИДОНОВ: Чем это я вашу жизнь испоганил?

МИЛЕНЬКИЙ: Тем, что в пархатики работать пошёл. На тебе вон, пахать можно, а ты соотечественникам дела шьёшь.

Спиридонов порывается что-то сказать, но его прерывает председатель.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Шабаш! Развели тут, понимаешь, партсобрание. Сели все!

Спиридонов от неожиданности едва не садится на что-то, что на поверку оказывается старым фотоувеличителем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*Миленькому*): У товарища из Москвы к тебе конкретное предложение. (*Спиридонову*) Степан Борисович, вы позволите? (*Миленькому*) Вот что, Миленький. К нам на майские приезжают американцы. Ты, сам понимаешь, для нас для всех родной человек, но американцы — они такие... ну, знаешь... вони они не переносят. К тому же выглядишь ты неважно. Что о нас подумают? Просьба у нас такая — посиди майские праздники тихо, без этих твоих концертов.

МИЛЕНЬКИЙ (*торгуется*): А что мне за это будет?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А я тебя на всю следующую зиму в дом престарелых пристрою. Считаю, и харчи, и жильё тёплое. Лады?

МИЛЕНЬКИЙ: Плёнки бы мне. И фотобумаги.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Только некондицию.

МИЛЕНЬКИЙ (*весело*): И станок обрезной!

Председатель складывает кукиш и подносит к самому носу Миленького.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Миленький, я тебе уже и так больше, чем обычно, пообещал, имей совесть. Так мы договорились?

МИЛЕНЬКИЙ: Договорились. Всё, чешите отсюда.

Председатель смотрит на часы. Снаружи слышится гул большой машины.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Миленький, тут ещё один момент нарисовался. Сам понимаешь — скоро майские, американцы уедут, а мы останемся. Нам на твою нечёсаную-небритую морду смотреть удовольствия никакого. Короче, время санобработки.

МИЛЕНЬКИЙ (*душераздирающе*): Нет!!!

В хибару вваливаются пожарники в полном боевом облачении, хватают забившегося в угол Миленького и тащат наружу.

Городская свалка. День. На улице уже развёрнут брандспойт. Пожарник в брезентовом костюме и каске щёлкает ножницами. Двое пожарных держат вырывающегося Миленького, третий со стволом брандспойта стоит напротив, готовый поливать.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*по-хозяйски, но без барства*): Эй, огнеборцы, мать вашу так! Нынче-то хоть горячую воду залили? А то в прошлый раз заморозили мужика! Не в Карбышева играете, благодетеля купаете!

ПОЖАРНИК: Обижаете, Иван Иванович, температура шестьдесят градусов Цельсия! Всё, как вы велели: десять кусков хозяйственного мыла, тубик шампуня «Желтковый»! Даже пузырёк «Русского леса» взяли!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это лишнее (*уже уходит, но вспоминает и грозит напоследок кулаком*) И напор послабее, фашисты!

ПОЖАРНИК: Так точно!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ну всё, тут теперь ажур. Поедем-ка в баньку, Степан Борисыч? Вы и запах с себя смоете, и вам одежду вашу в порядок приведут! И не смейте даже отказываться. В гостинице у нас горячей воды нет, а уж прачечная там — не дай бог!

Уводит Спиридонова под ручку прочь. За ними начинается санобработка истощенного орущего Миленького, с которого уже сорвали всю его одежду и держат за руки, чтобы не вырвался.

СПИРИДОНОВ (*оглядываясь*): Вы это не чересчур? Палку не перегибаете?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы поймите нас правильно, Степан Борисыч: не хочет, засранец, мыться. Летом-то ладно — под дождиком постоит, в ручейке сполоснётся, а зимой-то — ад кромешный! Вонизм стоит — ужас. А ведь он, гад, ещё и общественным транспортом пользуется. Вот вам понравился запах? По лицу вижу — не понравился. И никому не нравится. Вот мы в меру своих сил и боремся за гигиену.

Садятся в «мерседес».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*облегчённо*): Всё, Леонтьев, в баню.

Город. Утро. Из вокзала выходит, на ходу застёгивая мужские подтяжки на джинсах, Таисия. Дверь за ней громко хлопает — выходит милиционер, который давеча тащил её по перрону.

ТАИСИЯ: Спасибо, хорошие подтяжки.

МИЛИЦИОНЕР: Носи на здоровье (*протягивает суму, расшитую бисером и мулине*). Ты забыла.

ТАИСИЯ (*бьёт себя ладошкой по лбу*): У, дура!

МИЛИЦИОНЕР: Двигай уже.

Таисия чмокает милиционера в щёку и убегает. Идёт по незнакомому городу, сверяясь с голосом милиционера.

ГОЛОС МИЛИЦИОНЕРА: Короче, слушай. Сейчас пойдёшь по главной — Проспект Ленина называется (*Таисия смотрит на табличку с надписью «Проспект Ленина», кивает и идёт по тротуару*). Пройдёшь до самого памятника Ленину, обогнёшь его справа (*Таисия обходит памятник Ленину строевым шагом, вздёрнув руку в пионерском салюте, равняясь на строгое выражение лица вождя*). Там увидишь автобусную остановку. Сядешь в «восьмёрку» (*девушка входит в полупустой автобус и садится у окна*). Не забудь абонемент откомпостировать, конец месяца, на «зайцев» охота! Вот, держи пять штук. (*Таисия бьёт себя ладошкой в лоб, достаёт из сумки кошелечек и компостирует абонемент*). Доедешь до садового товарищества «Сад и ягодка» (*Таисия стоит перед входом в товарищество «Сад и ягодка», лицо у неё недоумевающее*). Ну, не знаю я, почему такое название. Сторожа нет, пройдёшь на улицу Цветочную, домик с петухами на ставнях — мой (*Таисия открывает калитку в небольшой садовый участок, отпирает дверь в домик, интерьер скромный, но всё чисто и опрятно*). Твоя задача: перекопать огород и грядки (*Таисия присвистывает, озирая место действия*). И полную бочку воды набрать. (*задрал голову, Таисия смотрит на огромную цистерну*). Как справишься, так и куплю тебе билет до Ленинграда (*последнюю фразу Таисия, кривляясь, артикулирует сама*).

Таисия, в рубашке на голое тело, завязанной узлом на животе, и в своих советских труселях, плюёт на руки, профессионально берёт лопату и начинает перекапывать огород. Вот готова четверть. Вот половина. Вот весь огород перекопан. Вспотевшая, растрёпанная Таисия довольно оглядывается, грязной рукой убирая со лба непослушную прядь. Слышится плеск воды. Таисия оборачивается. Из бочки стекает вода. Таисия бьёт себя ладошкой по лбу. Чумазая рука заворачивает барашек крана. Таисия выходит из домика с полотенцем через плечо, в руке — пакет с шампунем, мыльницей и губкой. Таисия закрывает за собой дверцу импровизированной душевой. Льётся вода, слышится девичий визг.

Баня. День. Председатель и Спиридонов на полке, лицом друг к другу. Банщики хлещут их венниками.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (блаженно млея): Ты спрашивай, спрашивай, Степан Борисыч, я всё расскажу.

СПИРИДОНОВ (задыхаясь): А он что, местный, этот ваш Миленький? Вы о нём прямо как о родном...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А как же иначе? Он нам почти родной и есть. Он же у нас аккурат с семьдесят четвёртого года. Точно, в этом сентябре шестнадцать лет будет.

Флэшбек. Выставка в Манеже 1962 года и бульдозерная выставка 1974 года. Всюду картины авангардистов. Толпа народу. Вдруг толпа рассасывается. Хрущев и члены политбюро ходят по выставке.

Голос председателя: Сначала наш Миленький был один из художников, которые в Манеже выставлялись. Очень талантливый был, хоть и молодой, его и позвали. Но что-то Никите Сергеевичу на той выставке не понравилось.

Авангардисты стоят кучкой, не знают, куда деваться. Перед ними ходит разъярённый Хрущёв, машет руками, орёт.

ХРУЩЕВ: Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! ... Что это такое? Вы что — мужики или пидорасы проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть?

Юный Миленький съёживается, чтобы его не заметили. Бульдозерная выставка, спустя двенадцать лет.

Голос председателя: Он на какое-то время притих, а через двенадцать лет на окраине Москвы опять какую-то выставку затеяли. И Миленький, которого из института вышибли после Манежа, решил ещё раз выставиться.

Повзрослевший Миленький, съёженный и всего боящийся, стоит рядом со своими картинами. Люди в штатском, человек сто. Бьют художников, ломают картины. Водомёты смывают художников и картины. За водомётom идёт бульдозер. Миленький на корточках перед раздавленными картинами. Конец флэшбека.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Короче, собрал он манатки и к нам приехал. Устроился работать художником на завод, но надломился в нём стержень, опустился человек.

СПИРИДОНОВ: Я не понял: сколько ему лет?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В следующем году пятьдесят шесть стукнет.

СПИРИДОНОВ: Да он в полтора раза старше выглядит.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А чего ты хотел? Он все эти годы пил, курил, по бабам ходил. Истратился, теперь только пить и курить может. Но, между прочим, до баб до сих пор охоч. Правда, немного в ином смысле.

Свалка. День. Довольный, кое-как постриженный Миленький, завернутый в какую-то старую жёлтую простыню, как римлянин в тогу, трогает развешенные на проволоке для просушки шмотки. Удовлетворённо кивает, сбрасывает с себя простыню прямо в грязь, и начинает одеваться.

ГОЛОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Ты думаешь, Тамара Степановна только за вонь на Миленького шипит? Ха! Он без баб себе жизни не смыслит. Ты когда-нибудь за девками в бане подглядывал? Так вот — ты ничего не знаешь про подглядывание. Миленький — вот он настоящий охотник! Вот мы здесь моемся, а он наверняка уже готовится.

Что-то Миленький застёгивает, что-то пришивает ржавой иголкой прямо на себе, что-то прикручивает алюминиевой проволокой. Вот Миленький уже одет и обут. Он идёт в свою будку.

Хибара. День. Миленький гладит фотографии, бормочет что-то ласковое. Открывает верхний ящик комода. Там, в куче бумажек, отыскивает среди пустых коробочек последнюю кассету с плёнкой «Свема 3б». Разгребает лежанку, поднимает крышку. Оказывается, это шифоньер, лежащий на спинке.

ГОЛОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Фотоаппарата у него нет, так Миленький из подручных средств собрал. И, что интересно, получается у него. Криво, но получается.

Миленький аккуратно берёт самодельную фотокамеру, залезает с ней в шкаф, и закрывает за собой дверцу. На комодe старый механический будильник. Минутка стрелка переползает с 2 на 3. Дверца шкафа отворяется. Во весь рост поднимается гордый и целеустремлённый Миленький. На груди у него висит самодельная фотокамера.

Садовое товарищество «Сад и ягодка». День. Миленький, крадучись, идёт вдоль штакетников, заглядывает в окна домиков, смотрит, как работают женщины.

Женщины кто в халатах, кто в купальниках. Молодые и не очень. Красивые и так себе.

Миленький, беззубо улыбаясь, ловит женщин в разных позах в видоискатель.

ГОЛОС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Он в бабах не процесс любит, он в них, как бы помягче выразиться, богинь видит. Ну, видимо, ему так, на расстоянии, сейчас больше нравится. И потому он с этой своей камерой подкрадывается туда, где бабы моются или купаются, или одежду примеряют... мало ли. И фотографирует тайком.

Женщины замечают Миленького и начинают ругаться и швырять в него чем попало.

Миленький смеётся и убегает. Улица Цветочная, дом с петухами на ставнях. Миленький слышит девичий визг. Тихонько перелезает через штакетник и крадётся к душевой.

ГОЛОС СПИРИДОНОВА: Это называется «вуайеризм».

Миленький, не глядя, поднимает камеру над дверцей душа и фотографирует. Слышен истошный девичий крик, дверца резко открывается и бьёт Миленького по лбу. Миленький падает без чувств. Над ним, прикрываясь полотенцем, стоит Таисия. Появляется милиционер с вокзала.

Баня. День. В парилку вбегает запыхавшийся Леонтьев.

ЛЕОНТЬЕВ (пытаясь сквозь туман что-то разглядеть): Иван Иванович, вы здесь? Чепё у нас, Иван Иванович! Миленькому изнасилование шьют!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ёп...

СПИРИДОНОВ: Стоп, Иван Иванович. Доверьтесь профессионалу.

«Мерседес» мчитя по городу, в магнитоле играет Цой — «Дальше действовать будем мы».

Отделение милиции. Почти вечер. В «обезьяннике» томится, держась рукой за голову, Миленький. В камерке дежурного: Таисия, милиционер с вокзала, дежурный по отделению и Спиридонов.

СПИРИДОНОВ: Гражданка Касатонова, а как вы оказались на садовом участке сержанта Забийворота?

СЕРЖАНТ: Так я ж только что...

СПИРИДОНОВ: С вами мы потом поговорим, товарищ Забийворота.

ТАИСИЯ: Я путешествую. Автостопом. Знакомлюсь с жизнью нашей необъятной родины.
СПИРИДОНОВ: То есть бродяжничаете?
ТАИСИЯ: Нет такой статьи — бродяжничество. Путешествую. Я в институт поступать собираюсь.
СПИРИДОНОВ: Так что вы делали на садовом участке?

Забийворота умоляюще смотрит на Таисию.

ТАИСИЯ: Мылась. Денег у меня нет, вот я и попросила у товарища Забийворота помыться на его участке.
ЗАБИЙВОРОТА: Точно так, Христом богом!
СПИРИДОНОВ: И чем провинился перед вами гражданин Миленький?
ТАИСИЯ (едко): Он совершал по отношению ко мне развратные действия. Он меня фотографировал.
СПИРИДОНОВ: Какой системы был фотоаппарат?

Таисия открывает рот — и тут же закрывает. Она не знает

ТАИСИЯ: Ну, такой... Самодельный.
СПИРИДОНОВ: У нас тут что — передача «Это вы можете»?
ТАИСИЯ: А вот не надо на меня давить! Я несовершеннолетняя, но свои права знаю! Мне про него тут понарасказывали, про этого вашего... его в психушку надо. Или ещё лучше — в тюрьму.
СПИРИДОНОВ: Почему вы такая кровожадная, барышня?
ТАИСИЯ: Я? Вы на этого типа посмотрите! А если бы товарищ сержант не пришёл? *(стучит кулаком по столу)*. Требую, чтобы вашего Миленького изолировали от общества.
СПИРИДОНОВ: Он не мой миленький.
ТАИСИЯ (презрительно): Это уж вы с ним сами разбирайтесь, кто чей миленький.
СПИРИДОНОВ: Минутку, барышня. Вы ведь у нас несовершеннолетняя, правильно?
ТАИСИЯ: Вам паспорт показать?
СПИРИДОНОВ: Не нужно. Если вы несовершеннолетняя, от вас заявление никто не примет. Нужен совершеннолетний гражданин, который от своего лица составит заявление. Кто? Может, вы, товарищ Забийворота?

Все смотрят на сержанта. Сержант робеет.

ЗАБИЙВОРОТА: Так я чего... Я прихожу — он лежит. А она стоит *(бормочет)*. Я ничего писать не буду.
ДЕЖУРНЫЙ: Как — не будешь? Этот говнюк нам все показатели портит, его давно пора на нары! Вспомни: сам жаловался, как он за твоей бабой подглядывал.
ЗАБИЙВОРОТА (тихо): За твоей тоже.
СПИРИДОНОВ (примиряюще): Вот что, товарищи. Насколько я понял, заявления нет. В таком случае позвольте мне заняться персоной задержанного.
ДЕЖУРНЫЙ: А вы, собственно, кто такой?

Спиридонов показывает своё удостоверение. Дежурный снимает.

ТАИСИЯ: Я не поняла — у вас тут мафия, что ли? Может, вы тут все заодно?
СПИРИДОНОВ: Барышня, вы свободны.

Таисия хватает свою сумку и убегает, хлопая дверью. Возвращается, подбегает к сержанту.

ТАИСИЯ (протягивает руку): Билет!

Сержант растерянно смотрит на неё. Вспоминает о билете. Роется в карманах, достаёт билет, отдаёт Таисии.

ТАИСИЯ: Трус!

Уходит, хлопнув дверью.

СПИРИДОНОВ (сержанту): Эксплуатируете несовершеннолетних, товарищ Забийворота? *(дежурному)*. Освобождайте вашего маньяка. Да аппарат ему верните!
ДЕЖУРНЫЙ (подписывая какие-то бумаги): Получите, распишитесь. И подавитесь.

Спиридонов уводит Миленького, нежно прижимающего самодельную камеру к груди.

Улица. Вечер. Миленький и Спиридонов стоят на крыльце отделения милиции. Спиридонов удовлетворённо дышит свежим воздухом, смотрит на первые звёзды в небе.

МИЛЕНЬКИЙ: Закурить есть?

Спиридонов, не глядя, подаёт пачку Camel.

МИЛЕНЬКИЙ: А спички?

Спиридонов подаёт фирменную зажигалку.

СПИРИДОНОВ (глядя в небо): Эх, старик... Кругом такой большой, такой прекрасный мир, живи да радуйся. А мне приходится с вашим братом возиться. Как же мне это надоело...
МИЛЕНЬКИЙ (закуривая): Чего ж возишься?
СПИРИДОНОВ: Это ненадолго. Скоро всё изменится. Понимаешь, старик, тут как в банке. Сначала ты служишь интересам родины, вкладываешь свои силы, а потом она служит твоим интересам, и отдаёт с процентами. Теперь, когда внешний враг нам почти и не враг, а даже где-то друг... Открываются головокружительные перспективы. Вот ты, Миленький, знаешь?...
ЛЕОНТЬЕВ (стоит на первой ступеньке крылечка): Э... Вы с кем разговариваете?

Спиридонов оглядывается. Миленького нигде нет, он сбежал.

СПИРИДОНОВ (в сердцах плюёт): Слился, подлец.

Город. Вечер. Субъективная камера: кто-то следит за Миленьким. Он идёт задворками, мимо мусорных контейнеров, поваленных заборов, мимо частного сектора. Миленький чувствует, что его кто-то преследует, и поинутно оборачивается, но заметить соглядатая не может. Наконец, когда до дома на свалке остаётся совсем немного, Миленький видит преследователя, ужасается и бежит к своей хибаре. Преследователь настигает жертву у самых дверей и начинает избивать расшитой бисером и мулине хипповской сумой.

ТАИСИЯ (размахивая сумкой): Вот тебе! Вот тебе, маньяк, получай!
МИЛЕНЬКИЙ (безуспешно пытаясь отбиться): Стой, хватит! Больно же!

ТАИСИЯ (*задыхаясь, яростно*): Да я с тебя штаны спущу и голым в Африку пошлю!
МИЛЕНЬКИЙ (*жалобно, закрывая голову от ударов*): В оригинале — не «штаны», а «семь шкур».
ТАИСИЯ (*ещё больше впадая в ярость*): Интеллигент вшивый! Я тебе покажу «семь шкур»!

Таисия истово машет сумкой. Будильник Миленького — восемь часов. Таисия машет сумкой. Будильник — десять минут девятого. Таисия машет сумкой, но уже не так яростно.

Проходит полчаса. Таисия едва-едва поднимает сумку, и роняет её на голову зевающего Миленького. Девять часов на будильнике. Таисия сидит верхом на Миленьком. Как только тот пытается поднять голову, она ударяет его сумкой.

Десять часов вечера. Таисия сидит верхом на Миленьком и клюёт носом. Миленький аккуратно выбирается из-под девицы, заводит полусонную Таисию в свою будку, устраивает на своей лежанке. Растапливает печь, ставит чайник. Зажигает свечки по всей конуре. Смотрит на спящую Таисию. Тянется за камерой.

ТАИСИЯ: Только попробуй, гадёныш!

Таисия вскакивает с лежанки. Миленький прячется от Таисии за печкой.

МИЛЕНЬКИЙ: Не дерись, дура! Кыш отсюда! Пошла!

ТАИСИЯ: Ты меня сам сюда затащил!

МИЛЕНЬКИЙ: Б...дь, лучше бы в грязи валяться оставил!

Таисия оглядывается. Присматривается к фотографиям. Смотрит одну, другую, третью. Смотрит на Миленького.

ТАИСИЯ: Ты маньяк?

МИЛЕНЬКИЙ: Сама ты маньячка!

ТАИСИЯ: Тебя до сих пор ещё никто не побил?

МИЛЕНЬКИЙ: Нет!

Флэшбэк. Драка. Миленького бьют женщины. Интеллигентные — по щекам. Служащие — кулаком в глаз. Девушки — с визгом. Бабы — деловито. Старухи — клюками. Неизменно — раздавленный Миленький с разбитой камерой валяется на земле. Конец флэшбека.

ТАИСИЯ (*саркастически*): Понятно.

МИЛЕНЬКИЙ: Что тебе понятно?!

ТАИСИЯ: Что засранец ты старый.

МИЛЕНЬКИЙ: А ты... а ты... кыш отсюда!

ТАИСИЯ: И пожалуйста, больно надо!

Открывает дверь, видит на улице крысу, визжит, захлопывает дверь.

МИЛЕНЬКИЙ: Чё орёшь? Крыс не видала, что ли?

ТАИСИЯ: Там не крыса, там целый слон!

МИЛЕНЬКИЙ: Драться не будешь?

ТАИСИЯ: Да кому ты нужен...

МИЛЕНЬКИЙ: Ну садись, будем пить чай.

Играет песня Виктора Цоя «Печаль». Автозак Миленького в ночи. В окно видно интерьер хибары. Миленький достаёт из комода чашки, блюда, хлеб, колбасу, варенье. Таисия садится на край лежанки. Миленький скиды-

вает с лежанки всё тряпье, выставляет на освободившееся место чайник, чашки, продукты. Пьют чай, едят бутерброды. Миленький что-то рассказывает.

Флэшбэк. Воспоминания Миленького. Толпа баб. Кого-то бьют. Бабы расходятся. Миленький голый, прикрывается камерой. Конец флэшбека.

Таисия сначала машет на него рукой, потом прыскает, оба смеются. Таисия рассказывает.

Флэшбэк. История Таисии. Отец Таисии, старый стилиста в брюках-дудочках, завещает ей уехать в Америку. Таисия клянётся пионерским салютом. Таисия угоняет самолёт. Нью-Йорк. Статуя Свободы. Таисия стоит с чашкой в руке в позе статуи Свободы. Конец флэшбека.

Миленький не верит. Восхищается. Миленький рассказывает.

Флэшбэк. Поступки Миленького. Ворует ложечки из столовой. Ворует ценники в магазинах. Ворует номерки в раздевалках. Ворует в кабинете председателя горисполкома бюст Ленина. Конец флэшбека.

Таисия не верит. Миленький встаёт, вытаскивает поочерёдно ящики комода. На пол валяются ложки, номерки. Падают одинокий бюст Ленина. Таисия хохочет, крутит пальцем у виска. Миленький вытаскивает очередной ящик. Вместо ценников оттуда валяются рисунки — карандаш, уголь, акварель, сепия. Миленький бросается их собирать. Таисия помогает. Рассматривает рисунки. Спрашивает Миленького. Миленький вырывает бумагу из рук девушки, комкает рисунки и запихивает кучей в комод. Таисия что-то говорит. Миленький отмахивается — отстань. Таисия растерянно молчит. Спрашивает про фотоувеличитель. Миленький неохотно отвечает. Таисия предлагает проявить и напечатать фотографии. Миленький и Таисия колдуют над какими-то ванночками, сидят вместе, глядя на будильник. Миленький клюёт носом. Таисия клюёт носом. Звонит будильник. Таисия с Миленьким вскакивают, сливают химикаты. На будильнике — три часа ночи. Таисия задувает все свечи. Рядом с буржуйкой висит красный китайский фонарик. Несколько аккумуляторов, соединённых последовательно, питают фотоувеличитель. Таисия и Миленький печатают фотографии. Фото женщин из садового товарищества «Сад и ягодка». Плохие фотки Таисия обозначает кислой физиономией. Хорошие фотки — пальцем вверх. Иногда оценки Таисии и Миленького совпадают, чаще — нет. Фотка Таисии — удивлённое лицо удивительно чётко, обнажённая фигура — размыто. Миленький и Таисия показывают палец вверх! Таисия спит на лежанке. Миленький вырезает, рисует, клеит при свете красного фонарика. Крепит на стенку фотку Таисии.

За окном уже светло. Миленький выходит из своей халупы и сладко потягивается, щурясь на солнце.

Нат. Свалка. Утро. Приезжает «мерседес» председателя. Из машины вылезает Спиридонов. Видит Миленького, приветственно поднимает руку.

СПИРИДОНОВ: Так и знал, что увижу тебя здесь.

МИЛЕНЬКИЙ: А где мне ещё быть?

СПИРИДОНОВ: Может, в домик к тебе зайдём?

МИЛЕНЬКИЙ: А может, не надо?

Спиридонов берёт Миленького за шкурку и тащит в будку. Миленький пытается упираться, но у него ничего не выходит — слишком разные весовые категории.

Хибара. Утро. В хибаре, к удивлению Миленького, пусто. Спиридонов хозяйски оглядывает жилище Миленького.

СПИРИДОНОВ: Сколько у тебя всего этих фоток?

МИЛЕНЬКИЙ: Сколько ни есть, а все мои.

СПИРИДОНОВ: Старик, я их покупаю. По пять рублей за штуку. Хочешь?

МИЛЕНЬКИЙ (*обалдев*): Почём?

СПИРИДОНОВ (*понимая, что загнул, пытается сбить цену*): Если сто штук продашь — по пять рублей возьму. Двести — по трёшке.

МИЛЕНЬКИЙ: А тысячу?

СПИРИДОНОВ: А что, тысяча наберётся?

МИЛЕНЬКИЙ: Тысяча девятьсот семьдесят.

Спиридонов мучительно думает. Смотрит на фотографии. Замечает фото Таисии. Субъективная камера: Спиридонов виден через узкую щель снизу вверх. Чьё-то тихое, едва сдерживаемое дыхание.

СПИРИДОНОВ: За две тысячи возьму, так и быть.

МИЛЕНЬКИЙ: Давай я лучше тебе картины свои продам. У меня полон воз, больше, чем фотографий. Смотри!

Миленький выволакивает из углов, заваленных тряпьем, чемоданы. В чемоданах листы, картоны, холсты. Масло, акварель, уголь, сепия, гуашь. Обнажёнка, натюрморты, пейзажи, портреты.

МИЛЕНЬКИЙ: По пятьдесят копеек за штуку отдам.

СПИРИДОНОВ: Ты дурак? Да так тебе любой школьник нарисует. Мне твои фотографии нужны. Понимаешь? Вот это — настоящая ценность, бабы твои голые. Ты ведь дарил их кому-то, да? Ну, дарил, признайся. Вот их знатоки ценят, никто про тебя, как про художника, и не помнит.

МИЛЕНЬКИЙ: Пошёл вон отсюда.

СПИРИДОНОВ: Чего?

МИЛЕНЬКИЙ: Пошёл отсюда, пидорас пархатый! Х... тебе в глотку, а не фотографии.

СПИРИДОНОВ: Погоди, старик! Давай, я твои картины довеском возьму, а? Тоже по рублю, а? А вот её (*тычет пальцем в фотографию Таисии*) вообще за сто рублей возьму!

Миленький хватает кочергу.

СПИРИДОНОВ: Идиот старый! Давай я её за пятьсот возьму. Зачем тебе всё это, а? Не сгорит, так сгниёт, или мыши погрызут, а я по людям пристрою, они хоть имя твоё помнят! Сдохнешь ведь, никто и вспоминать не будет, кому ты нужен такой?

МИЛЕНЬКИЙ (*истошно орёт*): Пшёл вон, гнида краснопузая!

Спиридонов плюёт под ноги.

СПИРИДОНОВ: Ну, вспомнишь ещё...

Уходит, хлопнув дверь. С улицы доносится гул автомобиля, потом всё стихает. Дверца шкафа открывается, оттуда вылезает взъерошенная Таисия.

ТАИСИЯ: Слышь, а что здесь такое было-то?

МИЛЕНЬКИЙ: Да так, хмырь этот гэбешный в душу насрать приходил.

ТАИСИЯ: А зачем он работы твои купить хотел? Срамота же.

МИЛЕНЬКИЙ: Дура! Американцы приезжают на майские праздники, вот этот пархатик и хочет фарцануть предметами современного массового искусства.

ТАИСИЯ: Что?! Американцы?! И ты так спокойно об этом говоришь?!

МИЛЕНЬКИЙ: А что, они не люди, что ли?

ТАИСИЯ: Да при чём тут люди?! Ну, покажи ты им свои работы, они же их с руками оторвут!

МИЛЕНЬКИЙ: Да чего они могут понимать? Чего ты понимать можешь?

ТАИСИЯ: А я много чего могу понять! Я Тышлера могу понять, и Филонова, и Малевича!

У меня папа не только стилигой в юности был, он у меня ещё искусствовед!

МИЛЕНЬКИЙ: Нет! Нет у нас искусствоведов! Они все на бульдозерах работают!

ТАИСИЯ: Так вот же! Судьба тебе шанс даёт: соберись, приведи себя в порядок! Приедут американцы, ты им покажешь свои работы, а они тебя к себе позовут! Это же раз в жизни бывает: из помойки в цивилизованный мир.

Миленький морщится и отмахивается.

ТАИСИЯ: Ну ладно, тебе наплевать! Всем наплевать! Но мне-то не наплевать! Мне папа все уши прожужжал: девочка моя, надо бежать, надо бежать, здесь скоро будет катастрофа. Он меня этой америкой-европой травил-травил, и добился своего. Я английский и немецкий лучше русского знаю, мне тут уже давно не по кайфу жить. Насрать тебе на себя, так ты меня пожалей: уедем вместе в Америку, а потом возвращайся в свой Зажопинск!

Миленький достаёт из комода бутылку с самогоном. Наливает в ванночку для проявителя. Выпивает. Ему мерещится Спиридонов. Наливает снова. Выпивает. Мерещится Таисия. Наливает снова. Выпивает. Мерещится Спиридонов и Таисия одновременно. Они нависают над Миленьким, орут каждый своё, а Миленький стремительно напивается. Наконец, пьяный вдрабадан Миленький гоняется с кочергой за Таисией. Запинается, падает в грязь и засыпает. Таисия кое-как затаскивает Миленького в будку. Бросает на лежанку. Наугад берёт из чемодана несколько работ Миленького. Уходит. Какое-то время Миленький лежит неподвижно. Крупный план: рука Миленького лежит на полу. Рука подёргивается, оживает, шарит вокруг лежанки. Рука ныряет в какую-то дыру, достаёт оттуда дисковый телефон. Снимает трубку, поднимает вверх. Слышится отдалённый длинный гудок. Рука тяжело падает на телефон. Пальцы, с трудом попадая в диск, накручивают пятнадцатый номер. Гудки. Кто-то снимает трубку.

Голос Миленького: Тома, мне плохо. Не Тома? А кто? Ваня? Ваня, позови Тому. Алло, Тома? Мне плохо, Тома. Меня никто не любит, никто не уважает. Ты тоже? Вот видишь. Что?! Хрен им! Я лучше всё здесь спалю! Всё!

Миленький храпит. В трубке женский голос: «Миленький? Миленький, скотина стоеросовая! Миленький, не делай глупостей! Я тебя убью, Миленький!». Короткие гудки.

Свалка. День. В будке грохот, трам-тарарам, что-то бьётся, что-то звякает, что-то ломается. Из двери вываливается пьяный Миленький, кричит «сосите х..., американцы», грозит небу кулаком. Бежит куда-то, но спотыкается о кочергу, снова падает в грязь.

Теперь Миленький окончательно засыпает. Сладко посапывает и подёргивая ногой. Над трубой тянется дым.

Город. День. Горожане продолжают уборку города к Первомаю. Таисия идёт по городу, останавливает прохожих. Прохожиежимают плечами. Прохожие отчаянно жестикуют, указывая дорогу, чаще всего — в противоположных направлениях. Наконец, Таисия находит то, что ищет. Двухэтажное здание с табличкой: «Дануевский краеведческий музей. Художественный отдел».

Музей. День. Таисию ласково приветствует специалист, женщина бальзаковского возраста, одетая скромно, с обязательной шалью на плечах. Кабинет специалиста. Специалист сидит за столом, над ней нависает Таисия.

СПЕЦИАЛИСТ (*перебирая работы Миленького*): Удивительно! Никогда бы не подумала, что Миленький может такое... такое... Просто нет слов.

ТАИСИЯ: А вы думали, будто он только подсекать в женской бане может?

СПЕЦИАЛИСТ: Да какое там. За мной-то он как раз и не подсекал, (*с горечью и обидой*) я существо бесполое, меня даже Миленький не замечает.

ТАИСИЯ: Извините.

СПЕЦИАЛИСТ: Просто удивительно. И вы говорите, у него таких работ тысячи?

ТАИСИЯ: Два чемодана битком, и ещё в комодке столько же.

СПЕЦИАЛИСТ: Невероятно. Фантастика. Это будет фурор. На всю область. Нет — на всю страну! На весь мир!

ТАИСИЯ: Дамочка, остыньте. Миленький ваш какой-то неадекватный. Он меня чуть ко чергой не огрел, а вы — «фурор». Его же ещё убедить надо. Он считает, что американцы ничего не понимают.

СПЕЦИАЛИСТ: Ну, как же — там ведь будет атташе по культуре мистер Хайтакер. Магистр искусствования. Такие люди не могут не понимать искусство.

ТАИСИЯ: А как мы ему покажем работы? Делегацию на свалку не повезут. А Миленький добром свои работы не отдаст.

СПЕЦИАЛИСТ (*преображаясь из синего чулка в знойную женщину*): А мы выкрадем!

ТАИСИЯ (*опасливо отодвигаясь*): Но-но... я не такая.

СПЕЦИАЛИСТ (*смутившись*): Я тоже.

Город. День. Таисия в сопровождении специалиста идут по улицам. Специалист о чём-то с восторгом рассказывает. Таисия согласно кивает, погружённая в свои мысли. Чем дальше они идут, тем беспокойнее делается Таисия. Она что-то объясняет специалисту, женщина кивает, ловит частника, вручает ему пятьдесят рублей. Частник мчит женщин через город, через частный сектор. Над свалкой клубится чёрный дым, частника обгоняет пожарный расчёт.

Свалка. День. Пожар — горит будка Миленького. Таисия орёт, плачет, рвёт на себе волосы. Рядом с ней, правда, менее эмоционален, Спиридонов. На его лице написано крушение надежд, готовность бросить всё и уйти в монастырь. Он прижимает к себе рвущуюся в будку Таисию. Председатель с Леонтьевым сидят на капоте «мерседеса» и мрачно смотрят. На их лицах мечутся сполохи пожара. Пожарные деловито поливают будку, аккуратно переступая через спящего в грязи Миленького. Специалист стоит рядом с частником и утирает слёзы. Ускоренная съёмка: пожарные окончательно заливают пламя, сматывают шланги, рапортуют председателю и уезжают. Вместе с ними уезжает милиция и «скорая помощь». К стоящим в обнимку Спиридонову и Таисии подходит председатель, что-то говорит, садится в машину, уезжает. Специалист садится в машину к частнику без слов и тоже уезжает. Среди этой суеты Спиридонов и Таисия, а также лежащий в грязи Миленький — единственные неподвижные объекты. Общий план: Спиридонов, Таисия, Миленький с низкого горизонта на фоне сгоревшей будки.

СПИРИДОНОВ: Вот и всё.

ТАИСИЯ: Что — всё?

СПИРИДОНОВ: Всё — всё... Сгорело всё, понимаешь?

ТАИСИЯ (*равнодушно*): Тебе-то что с того? Баб голых жалко?

СПИРИДОНОВ: Следи за языком.

ТАИСИЯ: А ты меня не лапай.

Спиридонов отталкивает Таисию. Таисия склоняется над Миленьким, потом берёт его за руку и начинает поднимать с земли.

МИЛЕНЬКИЙ (*спросонья*): Сосите х..., американцы!

Роняет вместе с собой Таисию. Таисия снова встаёт и поднимает Миленького. Тацит на себе.

СПИРИДОНОВ: Ты куда?

ТАИСИЯ: Не твоё дело.

Спиридонов догоняет её, взваливает Миленького на себя.

СПИРИДОНОВ (*сердито, лишь бы только отвязаться*): Куда?

Идут молча через весеннюю грязь, через мать-и-мачеху: Таисия чуть впереди, Спиридонов с Миленьким — чуть сзади. Проходят через ворота садового товарищества «Сад и ягодка». Огородники недоумённо смотрят вслед странной процессии. Таисия со Спиридоновым останавливаются перед домиком с петухами на ставнях. Таисия заходит в калитку, стучится в домик. На пороге появляется жующий сержант Забийворота в майке и трениках. От неожиданности сержант чуть не давится. Спиридонов сгружает Миленького.

ТАИСИЯ: Товарищ сержант, вы вовсе не трус. Можно, Миленький у вас летом поживёт, а?

Садовый домик. День. Миленький храпит на коврике, под головой — валенок. Сержант Забийворота брезгливо смотрит на Миленького.

ЗАБИЙВОРОТА: Ненавижу его. Всю жизнь мне загубил, сучёныш.

СПИРИДОНОВ (*безразлично*): Как же он вам жизнь загубил?

ЗАБИЙВОРОТА: Да запал он на мою Зинку. Каждый день подглядывал да фотографировал. Она мне, конечно, жаловалась, а мне всё некогда было, думаю: знаю, где ты живёшь, распатрону я твои залежи.

Флэшбек. Забийворота в хибаре Миленького. Сержант ходит по хибаре, разглядывает фотки. Вытряхивает ящики. Находит фотки своей жены. Сгребаёт фотки, прячет под китель. Конец флэшбека.

ЗАБИЙВОРОТА: Да только выбросить жалко было. Я и хранил их, ну, иногда посматривал. А что там пара-тройка чужих попалась — это случайно. А Зинка однажды меня застала за разглядыванием — ею, между прочим, любовался! — отобрала, сама посмотрела, заревела, манатки собрала — и к матери укатила, в Запорожье. А я вот один теперь, уже года два как.

ТАИСИЯ: А прощения просить не пробовали?

ЗАБИЙВОРОТА: Да чуть не на пузе ползал, ноги целовал. А, чего говорить.

ТАИСИЯ: Но вы его не выгоняйте пока, ладно? Вон, товарищ из госбезопасности придумает, куда его девать. А у меня поезд вечером.

Садовый участок сержанта. День. Дверь открывается, на улицу выходят Таисия и Спиридонов. Пожимают руки хозяину. Выходят на улицу.

СПИРИДОНОВ: Ну, и куда ты сейчас?

ТАИСИЯ: В Америку.

СПИРИДОНОВ: И чего ты там забыла?

ТАИСИЯ: А там кэй-джи-би нет, никто не спрашивает: куда, зачем да почему...

СПИРИДОНОВ: Кэй-джи-би есть везде. И везде спрашивают.

ТАИСИЯ: Плевать. Лишь бы не здесь.

СПИРИДОНОВ: А чем тебе у нас не нравится?

ТАИСИЯ (*презрительно*): А тебе, значит, нравится? Потому-то ты собирался у Миленького его фотки купить, да? Потому что родину любишь, и за кровные свои избавляешься от тлетворного влияния Запада, ага? А картины его довеском купить хотел, иначе Миленький может порнографию свою и не отдать.

СПИРИДОНОВ: Подслушивала?

ТАИСИЯ: И даже подглядывала.

СПИРИДОНОВ: Ну и вали!

ТАИСИЯ: Ну и до свидания!

Таисия перекидывает суму с плеча на плечо и быстро уходит. Спиридонов плюёт и уходит в другом направлении.

Автобусная остановка. День. Таисия стоит одна, ждёт автобус. Подходит компания молодых людей. Курят, искоса поглядывают на Таисию, переговариваются, ржут. Окружают Таисию. Таисия бьёт одного, вырубает другого, но парней слишком много. Таисию тащат в кусты. Она кричит, рвётся, но её никто не слышит. Кроме Спиридонова. Спиридонов перегораживает дорогу хулиганам. В руках парней появляются ножи, нунчаки, цепи. Драка. Спиридонов вырубает хулиганов методично, не меняясь в лице, как терминатор. Ломает руки, втыкает чужие ножи в чужие ноги и руки. Хулиганы в растерянности. Они бросают Таисию и убегают. Спиридонов помогает Таисии встать, обнимает за плечо, достаёт из своего красивого пиджака носовой платок и вытирает ей лицо. Таисия безутешна. Она ревёт в голос, ноги её не держат, девушку бьёт крупная дрожь. Подъезжает «восьмёрка».

Гостиничный номер «люкс». Почти вечер. Спиридонов заводит в свой номер Таисию. Показывает, где душевая, отдаёт свой банный халат, показывает, где кровать. Уходит. Таисия остаётся одна. Идёт в ванную, открывает горячую воду. Вода не льётся. Открывает холодную. Льётся ржавая вода. Таисия садится на край ванны и плачет. Таисия стоит под струями ржавой воды. Рыжие потоки стекают по лицу, постепенно становясь прозрачными. Постиранный одежда и бельё висят на спинках стульев. Таисия с полотенцем на голове спит.

Город. Вечер. Спиридонов бродит по улицам. Уборка города уже закончена. Всё украшено яркими бумажными цветами, шариками, через улицы натянуты лозунги: «МИР! ТРУД! МАЙ!» «ПЯТИЛЕТКУ В ТРИ ГОДА!» «ЧЕРЕЗ ПЕРЕСТРОЙКУ — К НОВОМУ ПОНИМАНИЮ МАРКСИЗМА!» «ДАЁШЬ 4-Й СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ!»». Неформалы танцуют на углу брейк-данс. В сквере репетирует оркестр. Группа рабочих запенила памятник Ленину и теперь отмывает. Спиридонов кружит под окнами гостиницы. Окна тёмные. Спиридонов возвращается в садовое товарищество. Пьёт вместе с сержантом Забийворота. Миленький продолжает сладко посапывать.

Темнеет. Спиридонов снова под окнами гостиницы. В окнах темно. Спиридонов плюёт и решительно идёт в гостиницу. Заходит в комнату. Видит спящую Таисию. Тоже ложится.

Гостиничный номер. Утро. На улице слышны радостные крики людей, бравый марш, в окне видны разноцветные воздушные шары, уносящиеся в небо. Чья-то рука мягко, но настойчиво трясёт Таисию за плечо. Таисия открывает глаза. Садится в постели, пытается вспомнить, как она здесь оказалась. На тахте спит одетый Спиридонов. Ноги его свисают со спинки дивана. На краю постели сидит празднично одетый председатель.

Председатель прикладывает палец к губам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Девушка, не будите бойца. Я к вам.

ТАИСИЯ: Что вам надо?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Девушка, вы вчера очень удачно спрятали Миленького, за это вам спасибо. Но это — полдела! (*наклоняется к самому уху Таисии и жарко шепчет*). Теперь важно удержать его на месте (*откидывается, испытующе смотрит на Таисию — поня-*

ла ли?») Поймите, девушка, весь самогон у Миленького сгорел, он пойдёт искать горячее — и испортит весь праздник. Вы должны его чем-нибудь занять.

ТАИСИЯ: С какой стати? Я несовер...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тсс! Я в курсе. А я — председатель исполкома. И в моих силах отправить вас в детскую комнату милиции, откуда вас отправят домой. Оно вам надо?

ТАИСИЯ: Чего вы хотите?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это другой разговор. Удержишь его эти три дня, пока комиссии не разъедутся — куплю билет в СВ, и письмо дам, чтоб тебя в институт какой-нибудь без экзаменов зачислили (*смотрит на часы*). Извини, опаздываю — митинг скоро. Смотри, я надеюсь на тебя. Денег не даю, чтобы ты не обманула. Зато паспорт твой — у меня. Желаю успехов.

Неслышно уходит. Таисия торопливо одевается, швыряет вещи в сумку. Убегает.

Хлопок двери будит Спиридонова. Он открывает глаза, щурится на солнце. С кряхтением встаёт, задёргивает шторы, падает на кровать и снова засыпает. Дверь к номеру кто-то открывает. Спиридонов снова открывает глаза. Субъективная камера. Кто-то открывает дверь в номер. Проходит к постели и тормозит Спиридонова. Спиридонов открывает глаза и удивляется.

Город. Полдень. Таисия стоит на центральной улице. Мимо проходят колонны весёлых горожан. Таисию вовлекают в шествие, её носит в толпе, как щепку. Наконец, Таисия понимает, что ей делать. Она вырывается из толпы и твёрдым шагом куда-то идёт.

Таисия приходит к музею.

Музей. День. Кабинет специалиста. Специалист быстро одевается.

ТАИСИЯ: Быстрее, пока он не передумал.

СПЕЦИАЛИСТ: Да-да, я готова.

Город. День. Народ стекается к центру от окраин, Таисия и специалист движутся в противоположном направлении. Они тащат этюдник, большую папку из ДВП, авоську с водкой. Садовое товарищество «Сад и ягодка». Домик с петухами на ставнях. В огороде копаются Забийворота, весь помятый.

ТАИСИЯ: Товарищ сержант.

ЗАБИЙВОРОТА (*стонет*): Что ещё? Можно хоть раз в жизни...

ТАИСИЯ: У меня поручение от товарища председателя исполкома.

Спустя пятнадцать минут. Помятый Забийворота в форме стоит у калитки. Его провожает Таисия.

ЗАБИЙВОРОТА (*недовольно*): До третьего?

ТАИСИЯ: Так точно!

ЗАБИЙВОРОТА: Картошку посадить не забудь.

ТАИСИЯ: Сегодня же.

ЗАБИЙВОРОТА: Смотри у меня.

Уходит.

Садовый домик. День. Миленький открывает глаза. Видит чей-то мутный силуэт. Щурится. Силуэт оборачивается сидящей к Миленькому спиной обнажённой женщины. Миленький не верит своим глазам, трёт их.

МИЛЕНЬКИЙ: Ёпонский городской.

Озирается. Рядом с ним стоит этюдник, на этюднике — мольберт. Тут же — бутылка водки.

МИЛЕНЬКИЙ (*глотаю из горла*): Где я?

В домик заходит Таисия. Она в трусах, в рубашке, босиком, ноги и руки в земле.

ТАИСИЯ: Очнулся, классик?

МИЛЕНЬКИЙ: Девка, это что? Это я где? (*тыча пальцем в обнажённую*) Это — кто?

ТАИСИЯ: Модель.

МИЛЕНЬКИЙ: Социалистическая?

ТАИСИЯ: Вам наша власть не нравится?

МИЛЕНЬКИЙ: Да х... я положил на эту власть.

ТАИСИЯ: Тогда рисуй. Тебя ждёт маленькая болдинская осень.

МИЛЕНЬКИЙ: Какая, на хрен, осень? Сказала бы ещё — гаитянский период Гогена. Всё, я домой пошёл.

Порывается встать.

ТАИСИЯ (*резко*): Лежать на месте! Хоть лейденский период Рембрандта, мне всё равно.

Миленький послушно падает.

ТАИСИЯ: Сгорел твой домик.

МИЛЕНЬКИЙ: Как — сгорел?

ТАИСИЯ: Так — сгорел. Дотла.

МИЛЕНЬКИЙ: А...

ТАИСИЯ: Всё сгорело.

Какое-то время Миленький просто лежит. Потом начинает биться затылком об пол. Специалист, сидящая спиной к Миленькому, тревожно оборачивается на Таисию. Таисия флегматично подкладывает Миленькому под голову валинок.

ТАИСИЯ: Пора тебе вспомнить, как работать карандашом и кистью.

МИЛЕНЬКИЙ: Ты что, с дуба рухнула? Я пятнадцать лет не рисовал.

ТАИСИЯ: Как? А картины?

МИЛЕНЬКИЙ: Да выбросить жалко было, это всё, что я из Москвы привёз, когда сюда переехал. Ты год смотрела хотя бы?

Таисия смотрит на Миленького, на этюдник с мольбертом, на расстроенную сотрудницу музея. Берёт флейц, окунает в краску и рисует прямо на физиономии Миленького.

ТАИСИЯ: Ах, ты, тварь такая! Я думала, он здесь искусством занимается, а он баб голых фотографирует!

Мажет Миленькому щёки, нос, рот, губы.

МИЛЕНЬКИЙ (*вскакивает*): Ты ё...лась, что ли? Это ж масло!

ТАИСИЯ: А ты колбасы хотел?! Ну-ка, встал! (*пинает лежащего*). Встал, я сказала! Кисти в зубы — и красить! Я тебе ни жрать не дам, ни спать, ни пить (*выливает водку на пол*). К станку, тунеядец!

Миленький становится к мольберту. Берёт в руки кисти, тряпку, палитру. Смотрит на модель, морщится. Проводит линию, другую... Не нравится, рвёт картон, бросает на пол.

Ставит другой картон. Таисия какое-то время наблюдает, потом кивает специалисту и идёт работать в огород. Таисия копает. Картошка в лунке. Миленький пишет. Порванный картон летит под ноги. Таисия копает. Миленький рисует. Ведро с картошкой пустеет.

Картон под ногами становится всё больше. Таисия заходит в дом. Голая работница музея утешает плачущего Миленького.

ТАИСИЯ: Что за разврат?

СПЕЦИАЛИСТ: Ну, разучился человек рисовать.

ТАИСИЯ: Пропил талант?

Миленький рыдает. Специалист шикает на Таисию, нежно прижимая голову Миленького к груди.

ТАИСИЯ: Но фотографировать-то ты можешь?

МИЛЕНЬКИЙ: Камера сгорела.

ТАИСИЯ: А новую сделать?

МИЛЕНЬКИЙ (*отрываясь от груди*): А оптику где взять?

Таисия снимает очки со специалиста.

ТАИСИЯ: Подойдёт?

Руки быстро чертят по картону карандашом. Ножницы режут. На примусе кипит клейстер.

Вырезанные детали скручиваются, склеиваются клейстером, соединяются. В трубки вставляются линзы от очков. Все щели замазываются пластилином. Таисия рыщет по ящикам. Радостно визжит — нашла фотоплёнку. Миленький радостно прицеливается на обнажённую модель, но тут видеоискатель заслоняет какая-то драпировка. Миленький поднимает глаза. Перед ним стоит Тамара Степановна.

МИЛЕНЬКИЙ (*растерянно*): Ой, Томочка...

ТАМАРА СТЕПАНОВНА (*невозмутимо кивает на модель*): Ну, и кто она?

Специалист, прикрыв перси, убегает в мансарду.

ТАИСИЯ (*Миленькому, шёпотом*): А это кто?

МИЛЕНЬКИЙ (*краем рта*): Жена председателя исполкома.

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Громче.

МИЛЕНЬКИЙ (*послушно*): Жена председателя исполкома.

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: А раньше чьей была?

МИЛЕНЬКИЙ (*потупившись*): Моей...

ТАИСИЯ (*обалдев*): Обанача...

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Совершенно верно, девушка. Вам не кажется, что мы обе хотим одного и того же?

ТАИСИЯ: В Америку?

ТАМАРА СТЕПАНОВНА (*назидательно*): Счастья! Счастья для этого ничтожества.

Таисия: Он не ничтожество!

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Поверьте, я его лучше знаю. Но мне тоже не нравится, что он прозябает здесь за гроши, забыл, как рисовать и снимает всякую порнографию, прости господи. Слава заслуживает большего. В конце концов, его картины...

ТАИСИЯ: Они сгорели, на пожаре.

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Отнюдь. Как только Слава позвонил мне, я сразу приехала.

Флэшбек. События с Тамарой Степановной. Тамара Степановна кладёт трубку, целует председателя и уходит. Тамара Степановна в будке Миленького. Собирает картины, фотографии, последней укладывает фото с Таисией. С двумя огромными чемоданами перешагивает через спящего в грязи Миленького. Укладывает чемоданы в багажник «Волги».

Голос Тамары Степановны: Потом начался пожар. Видимо, уголёк из печки выпал.

Тамара Степановна обшаривает Миленького, находит зажигалку Спиридонова. Заходит в будку, находит телефон, звонит пожарным. Горящая зажигалка падает на пол, растекается и вспыхивает бензин. Сквозь пламя видно, как из будки выходит Тамара Степановна. Полыхает пожар. Приезжают пожарные. Приезжает председатель со Спиридоновым. Приезжает Таисия со специалистом.

Голос Таисии: Так получается, что работы целы? Где они?

Номер Спиридонова. Рядом с ним на постели сидит Тамара Степановна. У двери стоят чемоданы Миленького.

Голос Тамары Степановны: Я оставила работы у заинтересованного человека. С условием, что он поможет Славе встретиться с американцами.

Лицо Спиридонова из мятого и жалкого становится волевым и целеустремлённым.

Он кивает. Конец флэшбека.

МИЛЕНЬКИЙ: Чего?

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Дурак, пойми — здесь ты очень скоро загноёшься. Кому ты нужен?

МИЛЕНЬКИЙ (тихо): Тебе?

ТАМАРА СТЕПАНОВНА (презрительно): Ну и подыхай...

Уходит.

ТАИСИЯ: Постойте!

Тамара Степановна оборачивается.

ТАИСИЯ: Вы что, не понимаете, кому работы оставили? Ему же плевать на Миленького!

Тамара Степановна не понимает.

ТАИСИЯ: Где сейчас атташе? Едем к нему, немедленно.

Таисия решительно берёт под руку Тамару Степановну и они идут к выходу. У калитки останавливаются. Миленький с новой самодельной камерой стоит посреди огорода.

ТАМАРА СТЕПАНОВНА и ТАИСИЯ (в один голос): Пошли быстрее.

МИЛЕНЬКИЙ (садится на землю): Не пойду. Я Иванычу обещал!

ТАМАРА СТЕПАНОВНА: Да твой Иваныч держит тебя здесь, как крепостного!

МИЛЕНЬКИЙ: Никто меня не держит. Я сам не хочу уходить.

ТАИСИЯ (становится перед ним на колени): Миленький! Родненький! Ну пойдём! Ты же у них знаменитый художник!

МИЛЕНЬКИЙ: Да не художник я уже, сама видела. Я...

ТАИСИЯ: Старый козёл.

Миленький кивает.

ТАИСИЯ: Но твои работы... Их ведь продадут.

МИЛЕНЬКИЙ: Пускай. Хоть кто-то помнить будет.

Встаёт на четвереньки, ползёт на коврике, на котором проснулся, ложится ничком. Закрывает глаза.

Банкетный зал. Вечер. Игрет музыка. Председатель со столичным чином из министерства иностранных дел и американским атташе бродят по заполненному народом залу. Председатель представляет чину и атташе лучших людей города.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это директор нашего завода, Фёдор Михайлович.

Чин переводит.

АТТАШЕ (на плохом русском): Достоевски?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Нет, Чехов.

Все смеются, только директор завода недоумевает.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (директору, шёпотом): Смейся, дурак, это шутка. Какая ему разница, Чехов ты или Иванов.

ДИРЕКТОР: Но я Иванов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (улыбаясь атташе, шипит директору): Смейся, гнида.

Шведский стол. Народ жует, общается. Спиридонов стоит неподалёку от председателя, чина и атташе. Мимо бежит официант с закусками на подносе. Спиридонов делает ему подножку, официант спотыкается, закуска летит с подноса. Председатель и чин стоят, в икре и в масле. Повисает нехорошая тишина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (невозмутимо): Мы сейчас.

Берёт под локоток сопротивляющегося чина и исчезает. Атташе с бокалом вина, посмеиваясь, движется в сторону шведского стола. Здесь его настигает Спиридонов.

СПИРИДОНОВ: Мистер Хайтакер, здравствуйте (показывает фотографию Таисии в паспорту). Вам что-то говорит такой стиль фотографии?

Атташе с любопытством разглядывает, потом присвистывает.

АТТАШЕ: Холи шит! Это ест Миленки? Святослав Миленки? Это ест настоящий искусство!

Спиридонов кивает, прячет фотографию Таисии в папку. Кивает на стол. Там, под скатертью, видны чемоданы Миленького.

СПИРИДОНОВ: Там.
АТТАШЕ (*не верит глазам*): Миленкис арт?
СПИРИДОНОВ: Почти две тысячи работ.
Голос Таисии за спиной: Тысяча девятьсот семьдесят, если точнее.

Спиридонов и атташе оборачиваются. Перед ними стоит Таисия — в трусах и рубашке на голое тело.

АТТАШЕ (*Спиридонову*): Советски стриптиз?
ТАИСИЯ: Перформанс. Называется «Барышня-крестьянка».

Спиридонов смотрит на Таисию. По его лицу невозможно понять — не то ненавидит, не то обожает. Появляется председатель. Видит Таисию, но лица не теряет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А вот и группа поддержки...
ТАИСИЯ: Святослав Миленкий умер.
ВСЕ: Что?!

Председатель не верит, ищет глазами жену. Тамара Степановна со скорбным видом стоит у дверей в зал. Встречаются глазами. Тамара Степановна кивает. Председатель смотрит на Таисию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Когда?!
ТАИСИЯ: Сегодня.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (*искренне расстроен*): Как же это? Почему? Он же не старый ещё был, жить и жить...

АТТАШЕ: Я не понимать... Я думать, он давно умирать!
ТАИСИЯ: Он жил здесь, почти шестнадцать лет. Оставил после себя большое творческое наследие.
АТТАШЕ (*Таисии*): Простить... а вы кто?
ТАИСИЯ: Я...

Молчит. Молчит весь зал.

СПИРИДОНОВ: Это младший научный сотрудник нашего музея. Готовится стать искусствоведом, пишет научную работу о Миленком.
АТТАШЕ: Сотрудник? А почему в такой вид?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Девочка работала на участке Миленкого... э... как по-английски «участок»? Дача?
Голос из толпы: Вилла.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Точно! Вилла. Работала на вилле Миленкого.
АТТАШЕ: Мне жаль. Скорбеть вместе с вами...
СПИРИДОНОВ: Мистер Хайтакер, можем ли мы просить вас организовать мемориальную выставку Миленкого в Соединённых Штатах?
АТТАШЕ: Оу... это есть неожиданное предложение в такой минута... но, полагать, это будет лучший способ помнить великий художник... ес, это решаемо. Но кто будет сопро-вождать выставка?

Все смотрят на Таисию. Таисия смотрит на Спиридонова. Спиридонов смотрит в сторону.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Все мы знаем, что покойный был озорником и затейником. Надеюсь, вы все меня поддержите, если я скажу, что он не хотел бы, чтобы мы грустили. Жизнь продолжается. Давайте не чокаясь помянем Миленкого — и продолжим жить. (*Таисии*) И прикройся уже. Срамота...

Таисию уводят. Официанты тащат чемоданы с наследием. Таисия оборачивается, ищет Спиридонова. Спина Спиридонова в противоположном конце зала.

Затемнение. Щелчок фотозатвора: Таисия в мантии и шапочке выпускника университета. Щелчок: счастливая Таисия с мужем-негром и девочкой-мулаткой на руках. Щелчок: знакомый интерьер Дануевского музея, Таисия с дочерью-подростком обнимает специалиста.

Титр. Таисия осталась жить в США, закончила Стенфордский университет, вышла замуж и родила ребёнка. Через три года развелась и вернулась в Россию с дочерью.

Два щелчка: Спиридонов в профиль и фас. Щелчок: свадебная фотография с Таисией. Щелчок: на фоне Статуи Свободы с Таисией и маленькой девочкой.

Титр. Степан Спиридонов получил условный срок за незаконную торговлю с иностранцами и был уволен из органов госбезопасности. Дождался Таисию и женился на ней. Нынче с семьёй проживает в Нью-Йорке.

Щелчок: председатель горисполкома с кулаком, поднятым вверх, рядом с Ельциным на баррикадах. Щелчок: респектабельное фото за руку с Путиным. Щелчок: семейное фото с Тамарой Степановной.

Титр. Иван Иванович Тягло во время августовского путча поддержал Президента России. Спустя пять лет стал губернатором края. В этом году переизбран на четвёртый срок. Счастлив в браке.

Щелчок: молодая негритянка в Дануевском музее ведёт экскурсию.

Титр. Дочь Таисии, Элен Фара Роуз, работает старшим научным сотрудником в музее Святослава Миленкого.

Затемнение. Титр. Святослав Миленкий.

Улица. День. Современный провинциальный город: реклама, куча магазинов, иномарки на улицах. Магазин нижнего белья. За стеклянными дверями какой-то шум. На крыльцо выскакивает бомж с самодельной фотокамерой. Это Миленкий. Бомжа преследуют полуодетые женщины. Крупный план: выражение абсолютного счастья на беззубом лице.

Конец.

Титры под любительскими фото Миленкого. Специалист в деревянном сортире — испуганное лицо. Фото Таисии, то самое. Фото Тамары Степановны, курящей в постели.

Фото Элен Фары Роуз, примеряющей лифчик. И так далее.

Сергей Крюков

Jeanne



Jeanne. Prologue
13 марта, 14:43

Кто бы сомневался, что конь Жанны д'Арк жив — до сих пор. Я его астральный аспект имею в виду. И пора бы коня оседлать да лягнуть тебя по горбу. Не рано ли, дружок, ты пристал к армии мертвецов, занятых обустройством собственных могил?

Ну и вот. Заходит, значит, епископ Пьер Кошен в темницу и спрашивает, а не жестко ли тебе, Жанна, на голом полу спать?

Некоторые на ходу спят и неплохо справляются, отвечает Жанна. Так что я еще в выигрышном положении нахожусь. А епископ в это время снился одной маленькой птичке, обвиненной в страшной ереси. А не жестко ли тебе, ваше преосвященство, на подушках, набитых нашими перьями, спать? Да ты же мертва, грешница! А она ему в ответ перо в шею воткнула. Очнулся в холодном поту, но ни птички, ни Жанны в тот момент не увидел — только свою тень на смятой перине.

К тому моменту, с которого начинается наша история, мисс Угожу Всем еще не родилась. А иначе, на костре вместе с Жанной д'Арк горел бы епископ Пьер Кошен. Вуаля! Горел, да не в том месте. Шел, как ни в чем не бывало по Невскому проспекту — купить для кофе молотую корицу. А Пушкин как раз в пух проигрался и спешил в салон к мисс Угожу. Она была, видите ли, истинная французенка и деньги с любовью не путала. Ну и зацепился тростью за сутану. Люди идут в балаган, говорит, из-за неверия. Иначе зачем за деньги показывать бородатую женщину? Не верят-с! Вот и желают удостоверить. И храм твой — тоже балаган, монсеньор. Тут Пушкин так пристально на Кошене посмотрел и говорит, а ну-ка, лягушатник, покажи свои руки! И в протянутые ладони ему молотой корицы насыпал. И во всем, что касается верхних конечностей, будет тебе сон в руку! Так прямо и сказал.

Jeanne. Бульон Матье
1 марта, 23: 29

Жизнь молодая, как скорый поезд — без остановок по требованию. Пролетела свистком и дверь перед носом захлопнула. А ты все так и куришь в тамбуре, оставив рюмку в купе. Ну, и Джо Дассен, а может, это был Серж Гинсбург, — неважно, тоже вскочил на свой мопед и помчался на демонстрацию студенческой молодежи, протестующей против оккупации Алжира. И так разволновался, что протаранил небольшой le Chateau de Sable, изображенный одним дальним родственником Эйфеля на манер летнего кафе мадам Угожу. Ну, и расплескал ее черный кофе на свои белые брюки. Окунул, то есть, свои тощие гренки в ее жирный бульон. Ага, вскричала мадам Угожу, я всегда говорила, что самый дорогой кофе — пролитый! Она, видите ли, мечтала хряпнуть чего-нибудь горяченького с утра, и не рассчитывала на вторую чашку, только — на мармелад. А звали ее Мирей Ивановна Матье. Вот так-то, братец! Пришлось везти ее в другой бар на своем мопеде, забыв про алжирских товарищей.

Jeanne. Трансгенный выпрямитель
3 марта, 19: 37

Все видели Джо Дассена в ботинках на манной каше. А что в левой или правой подошве был трансгенный выпрямитель, не знал даже Жорж Помпиду. Ну и вот. А Машка Матье привезла точно такие же в подарок Володе Высоцкому. Встретились, значит, на ВДНХ, идут, взявшись за руки. А Машку мистер Громыко в павильон «Советская печать» приглашал — открытки посмотреть, а по правде — прощупать двойное дно chaussures fran aise. Оставила Высоцкого одного с коробкой у входа — я, mille pardou, заскочу на минутку по женскому вопросу. Что делать? Переобулся и пошел в «Соки-воды». Не любил впустую тротуар приминать. Так в ботинках с трансгенным выпрямителем всю дорогу потом и выступал — назло кагэбэшникам. А с Машкой Матье разошлись тогда по разным павильонам. Другая в его сердце дорожку протоптала.

Jeanne. Макароны Дассена
6 марта, 12: 30

Любовь — штука неясная. Ее по отпечатку пальца без проводника не найдешь. В этом деле ты не проворней приморской гальки без рук и ног и домохозяйки, разведавшей пыль на пустом месте. Камнем на пути и занозой в руке встретишь своего проводника. Тут и возникнет, извиняюсь за выражение, точка бифуркации. А если ее проморгаешь, слипнутся все макароны — как на l' t indien partie у Джо Дассена. Пошевели-ка и ты, братец, своими спагетти. Ведь нечего тут ловить на кухне черпаком, когда одну мадемуазель давно пора из койки вытащить и другую туда завалить.

Jeanne. Елисейские поля
9 марта, 22: 47

Где я — там мой дом. Где я — там мой office. Такой вот existentialisme был присущ Александру Сергеевичу фон Пушкину. Собственно говоря, это был и не Пушкин вовсе, а отголосок мятежного духа, рассеявшего свои магические флюиды над руанским кострищем

в сонме осиротевших теней. Ну и вот. Опускается он в кресло перед императором Николаем Палычем и говорит, — а полетели, брат Коля, к бессмертным на Елисейские поля! Только вот чья это, извиняюсь за выражение, figure путеводный ночник заслонила? Так это наша сестра Жанна, отвечает император. Рано, говорит, нам еще в элизиум-милизиум спешить. Тут Пушкин, конечно, сразу же закурил от расстройства, хотя при жизни ни разу в этой турецкой непристойности замечен не был. Ну, и стряхнул свой пепел куда-то не туда — на нервной почве. Смотрит — стоят они уже оба в белых костюмах, вылитые Джо Дассен и Жорж Помпиду. И как раз можно новую пластинку для Машки Матье подписать. Короче, опять у них дела закрутились.

Jeanne. Бутылка Wojtomi
12 марта, 20: 58

Мыслям доступен upgrade. Как сказал бы пользователь из TRON: Legasy, летать не трудно, трудно — не летать. А Джо, который Без Пяти Минут Дассен, нет, говорит, не полечу. Мои крылья на барабан в химчистке намотало. А я их и так раз в пятилетку чищу! И в Moulin Rouge хобот опять навострил. А Мирей Владимировна Матье тогда боролась за мир во всем мире, а конкретно — в кремлевском Дворце съездов. И как воспарит над сценой! Ce soir ils vont s'aimer, — мое последнее слово. И Джо Дассен из шестого ряда с бутылкой Wojtomi из чувства солидарности с Машкиным заявлением тоже тогда взмыл. Поднял, то есть, тост — за мир, дружбу и французскую любовь. И от этого возмутительного сеанса буржуазной левитации все типографские шрифты тогда перепутались, и советские газеты на следующий день вышли с большим опозданием.

Jeanne. Любовь к овощам
16 марта, 21: 25

Любовь к овощам слепа как инквизиция. Благодати-святости не занимать, только признать в том, чего сам не ведаешь. А Джо, Который На Все Дассен, про нее, мать твою,

инквизицию, только в книжках читал. Ценил, значит, старика Гюго под свежий крестьянский сельдерей, который и хавал каждый день, как истинный француз. И настолько этим делом проникся, что является к нему однажды в мансарду дух этого самого сельдерея под ручку с капустой брокколи. Торкнуло его, короче, по самые кундалины этим овощным приходом. Так и так, хорош уже нас жрать, пора и самому окультуриваться. Вот тебе лопата и грядка, пускай тут смело свои корни, расцветай и здравствуй! И только, значит, Джо Петрович штаны свои белые приспустил и хорошенько окультурился или, пусть меня тут агрономы поправят — окупился, как к нему сам Виктор Гюго в образе фараона подоспел. Что же, ты, говорит, пидорас, свои брокколи среди белого дня тут разложил! И в полицейский газон эту знаменитую культуру аккуратно — чтобы не запачкаться — двумя пальцами пересадил. Вот с тех пор-то Джо Петрович Дассен и перешел с анжуйского на бургундское, но вот сельдереем закусывать не перестал. Не поверил, хоть ты меня ешь, в эту овощную инквизицию.

Jeanne. Любовь — это телекинез
17 марта, 22: 22

Цель скрыта, и там, где она скрыта, скрыта еще одна цель. И вся эта иллюзия — как панцирь для черепахи. Ведь часто под красивой скорлупой нет никакого ядра. Есть только беспмятный постоялец, за которого сам расплачиваешься по счетам. И если хорошенько не поднажать и не прибавить ходу, проводник просто поменяет пристанище-оболочку, оставив на память пустой орех. Когда речь, повадки и характер — лишь мертвое подражание, намек на шум моря в брошенной раковине. Ну и вот. А Джо Иванович Дассен ни разу на подмосковных электричках не ездил, ни разу, буржуазная гнида, Солженицына с Довлатовым не листал. Je ne comprends pas, говорит, какая тут последовательность-взаимосвязь? Но хлебнул как-то мистического супа в клошарской столовой и очнулся на станции Черное. И заходит в вагон Володя Владимирович Высоцкий с гитарой и со

словами — чтобы там коммунисты про соц-реализм не ввали, но любовь — это ТЕЛЕКИНЕЗ! Опа-на! И промеж глаз нашему Джонни принципиально врезал. Так что, дружок, в чьих бы ботинках ты там не наследил, кастриюлю все равно тебе чистить. И не надейся, что сучпик был мистический.

Jeanne. Восьмое марта
20 марта, 18: 30

Каждая весна — генеральная уборка. И ты берешь этот мир и сминаешь, как картонную коробку от старого телевизора. Выбрасываешь на помойку, как банку просроченного кофе. Выставляешь за дверь, как суку, изнывающую от тоски. Спускаешь в унитаз этот блистающий мир, который уже не торкает. Adieu! А у Машки Матье как раз новая любовь замутилась. Восьмое марта, то се, и вдруг звонит Джо Дассен — а давай, мол, я в Une Femme Amoureuse на басу сыграю. А Машка знала, что басовая партия — это позвоночник любой композиции. По нему проходит, так сказать, спинной мозг, ключевая тема. А барабаны? Откуда в барабанах мозг? Короче, Джо Дассен был ей исключительно по барабану. Ну, и послала его на Грушинский фестиваль. А что делать? Достал из кладовки велосипед и поехал. В комсомол, конечно, обеими ногами там вступил, даром, что был в белых туфлях, и стало ему тоже все по барабану.

Jeanne. Говенная репутация
24 марта, 20: 23

Мир — это мухи на клейкой вонючей ленте. Все стремятся туда попасть, чтобы подтвердить свою репутацию. Все напряженно застыли, доказывая приверженность общему делу.

А Бельмондо говорит, нет, мол, мир — это дорожные шахматы. Черная ты или белая пешка, Машка Монро или Мирей Матье, личность не имеет значения, важна лишь фигура и позиция на доске.

Имеджин, поддержал его Леннон. Мир — это наспех сложенный коллаж из рваных

газет и фотографий. И все ракурсы нелепы и равны. В калейдоскопе, приклеенном к голевой ленте.

И что же мне теперь делать? — спрашивает Машка.

Да ничего. Просто расслабься и проходи мимо.

Jeanne. Вчерашняя щетина
26 марта, 15: 18

Белые штаны и молодость — что еще нужно для счастья? И хоть остался от них лишь клочок на заборе, да и тот давно истлел, сливовый сад стоит да сих пор. А Михаил Сергеевич Боярский на вчерашней щетине гадать не любил и каждую весну костюмчик себе новый на Невском заказывал. Ну и как-то в арке у кинотеатра Aurora зашхерился — шнурки завязать. А тут, значит, французская делегация с Романовым из обкома идет. И пионеры вокруг Джо Дассена, как воробьи на Елисейских полях, скачут. Ну, а Дассен, как белые штаны увидел, так сразу в подворотню к Боярскому метнулся. Спасай, мол, братец, от пионеров и где тут вообще можно баб настоящих снять? Pourquoi pas? Взяли два билета на «Невезучих» и спрятались от делегации в кинозале. Сидят, налево-направо автографы раздают. И так весь сеанс нет покоя. Включили свет, пора в буфет идти, и тут Боярской вспомнил, что в спешке шнурки не смог завязать. Пока с ними возился, Джо Дассена след простыл. А зачем нам француз? Пусть его кагэбэшники с Романовым слушают-ищут. Выпил стакан-другой лимонада и пошел с пионерами в футбол играть. Даром, что ли, шнурки завязывал?

Jeanne. Служба доставки
31 марта, 5: 47

Почтальону безразлично, где ты живешь. В том смысле — почему именно ты облюбовал эту пустошь и этот сарай. Ему важны подробности почтовой доставки. Усек? Хотя что с тебя взять, ведь ты даже не знаешь цвета своей шляпы, потому что не забрал еще ее из химчистки. Ну и вот. Дело было

так. Решил Джон Петрович Дассен навернуть перед концертом портвейна. Спокойно, без суеты и поклонников прижать свою задницу в сквере. Ну, и сел случайно на птичку. Она, видите ли, набралась из лужи перед баром и спешила рассказать миру, как он прекрасен. И было бы им счастье, но Джон Петрович Дассен прихлопнул ее транзитом. Основательно так размял, словно последнюю в жизни сигарету. И каждый остался при своем мнении. Только штаны пришлось поменять. Так что не забывай, братец, кому ты конкретно адресуешь свой месседж, иначе тебе уготована судьба этой птички!

Jeanne. Смертельное трюмо
2 апреля, 12: 01

Когда придет смерть, она все заменит (в жизни). И думаешь, что кто-то надежней, на что-то можно положиться, но самое надежное — это смерть.

Она заменит все и в один момент, не так, как ты менял место жительства или затупившийся бритвенный станок. Без оговорок в расчете на какие-либо былые заслуги, и на фронте, и в тылу. По аналогии, как ты меняешь зеркало в прихожей, когда все вокруг новое, а ты внутри — в зеркале — прежний. Только ты там себя уже не увидишь, смерть отразит тебя в другую сторону.

Ну, и заходит, значит, Шарль де Голль после сольного концерта к Володе Высоцкому в гримерку и спрашивает, — никак, мол, не пойму, Waldemar, а в чем заключается ваша система? А следом за ним залетает туда же Мишель Мерсье, вся такая огненно-рыжая и на каблуках, в трюмо отражается и говорит: а система моя состоит в том, чтобы задницу свою отрывать от земли с каждым днем все выше и выше. Как самолет. Или ты уже не летчик, папаша? Тут Высоцкий свою голову от аккордов тоже отрывает и говорит: — а лучше, мол, две задницы — и все по той же схеме. И приветливо так этой Мерсье улыбнулся. Ну, а Машка тоже ему подмигнула. А что тут делать? Да здравствует Франция!

Jeanne. Рыцарская звезда
9 апреля, 20: 22

Не надо ничего представлять, все и так уже происходит. Вы просто выключены из процесса. А Джон Леннон воображал, будто секундную стрелку может взглядом остановить, и говорит королеве, — Imagine! И тут же все по его прихоти чинно замерли, и он один, значит, все бухло немедленно выпил. Его на этот корпоратив в Букингем никто, видите ли, не приглашал. Но и выпивку в этот день никто тоже не отменял. Выходит из дворца с недопитым батлом, а там его уже Петр Макарыч поджидает, ему тогда, типа, рыцарскую звезду еще не дали. Отхлебнул из этой бутылки и говорит, кошечки, они, конечно, бывает, пахнут коньяком, но когда коньяк ими — это уже unreal. Завязывал бы ты, Леня, со своим волшебством. И больше в этот день к выпивке не прикасались.

Jeanne. Дипломатические отношения с Гондурасом
11 апреля, 22: 44

Что делает сладкими конфеты? Какая разница между живописцем и жополизцем? И как отличить пыль, накопившуюся естественным образом, от пыли, предварительно стертой в пыль?

И разве об этом подумала Машка Матье, когда закрутился ее золотой граммофон? Но если сказано — «нет», значит где-то совсем рядом должно быть и «да».

А Владимир Семенович Высоцкий в это время со смертельным номером в цирке выступал. Увлекал, то есть, за собой в горящий обруч все советское шапито. Гонял, значит, на мистическом мотоцикле по натянутой над железным занавесом ненадежной и тонкой, как дипломатические отношения с Гондурасом, струне.

Ну, а однажды заперся в гараже и не выходит. Репетирую, мол, новую программу, а на деле — прокачал до пятисотого уровня свой байк и улетел через занавес к франкмасонам.

Неинтересно стало без него в шапито конфеты разворачивать.

Jeanne. Сдача Высоцкого
15 апреля, 23: 02

За все в мире расплачиваются звуками. Отрывистыми беспричинными аккордами, привлекающими драгоценное внимание. Это первое произведенное впечатление, все остальное — иллюзия и дерьмо.

Ну, и забурился как-то Джо Петрович Дассен ради одной мутной шабашки в бар. И после десятой кружки пива мощный такой ля-минор на своей «ямахе» извлекает. Или соль-мажор, это неважно. Это, мол, моя вам щедрая плата за бухло, и сдачи не надо. А в их высокоразвитой французской цивилизации на музыкальный слух всем было глубоко насрать. Интересовали лишь чистые, сугубо резонансные звуки, чтобы сразу знать, к какому месту бухгалтерию приложить. Но нельзя же так, без какой-либо Сциллы и Харибды квакать, говорит Джо Петровичу Дассену Володя Семенович Высоцкий. И своей шестистрункой этому лягушатнику безо всякого ля-мажора по автоаранжировщику и заехал. Poutquoi pas, — в качестве сдачи.

Jeanne. Тени завтрашней обедни
23 апреля, 19: 27

Не в каждой сказке дают сладкие пастилки.

И если ты не будешь взбивать вокруг себя ручонками пену — доводя матричную атмосферу до состояния сгущенной тени, то не почувствуешь ее, какой бы то ни было, вкус.

Ну и вот. А Джо, Который Был На Все Почти Дассен, спал беспробудно и наяву — то с восхитительным мармеладом, а то и с чистейшим зефиром на глазах. Возьмет, бывало, Володю Высоцкого за руку и говорит — экий ты, дядя, привередливый. Посмотри, до чего мир хорош! А Высоцкий и не спорит, а только как примется Дассена гитарой охаживать по бокам, да так энергично, что весь мармелад с Дассена Петровича наземь сползает. И мощным пенделем француза обратно в бар — просветляться. А я, мол, еще тут постою на краю. И мысленно

позвонит, значит, Марине Влади или — Мишель Мерсье, это неважно. А то возьмут бутылку бьянти и «голуаз-капрал» без фильтра на набережной покурят — несмотря на пасмурную погоду. И не разводят ромашковые чаи с бисквитом по пятницам в библиотеке, как некоторые.

Jeanne. Вечер в храме обезьян
1 мая, 13: 25

Моя бабушка никогда не садилась в самолет последней. Хотя, вру: не было никакой бабушки. Куда расправишь крылья, туда ветер тебя и понесет.

Ну и вот. А у Беллы Гусаровой был литературный салон в Камбодже. А на крылечке там все время сидел бритый наголо павиан и пил самогон из кешью. И рюмочка у него была — с наперсток. И пока этот даймон телепатически в храм обезьян перенесется и обратно свою камбоджийскую задницу прищипит, весь его самогон из рюмочки куда-то выветрится. Медитация, елки-палки. Ну, и он, значит, себе этого яда еще накаплет и снова в небо смотрит. И как-то видит, летит по нему белый «мерседес» с Володей Высоцким внутри. Или — с Беллой Гусаровой, это неважно. А за «мерседесом» огненный след в виде стихов тянется: не жалею, мол, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым... И тут павиан все это дело аккуратно в блокнот переписал, хвостом на прощание резко так махнул и в литературном салоне за бамбуковым пологом скрылся. Хотя в нашем деле медитации это ничего не меняет. Ведь как говорил еще старина Гор, что внутри, то и снаружи.

Jeanne. Сетка Высоцкого
6 мая, 21: 03

Старина Джакомо Кваренги знал толк в андалузском вине. Мог выпить, а мог и бутылкой по лбу дать. И в этом плане всегда мог выстроить вокруг себя циркумференцию. Ну и вот. Спускается как-то со скуки из своей эмпирии на Дворцовую площадь, а там Володя Высоцкий болонку немецкую выгуливает. Слушай, говорит, я эту псину Михе

Боярскому обещал. Покури тут с ней, а я пока сбегаю — очередь в винный магазин проверю. С меня — пузырь. Кваренги стоял, стоял — ни Миши, ни Высоцкого, ни портвейна. А блондинка эта, короче, Екатерина заколдованная была. Хватит, Джакомо, мол, тут уже стоять, у меня лапы чешутся. А Кваренги царицу тоже быстро признал, ошейник у нее отстегнул и в одну ему ведомую анфиладу чайкой нырнул. Хорошие, дескать, песни твой Вовка пишет, но хватит тебе уже, ваше высочество, завтраки туриста всухомятку тут жрать. Увез ее, короче, в свои небесные виноградники. Только Семеныч за ними все равно увязался — по забытому на Дворцовой мистическому поводку. А что, говорит, нам, старым козопасам, еще остается делать? Не вечно же в гитару им лабать. Так там с Джакомо и сидят. И сетку с продуктами еще даже не распаковывали. Тебя, дружок, все поджидают.

*Jeanne. Институт каучука
14 августа, 20: 18*

Сколько баб, столько и дур. И миллиард им подобных в абсолютном значении здесь ума не прибавит.

Ну и вот. А папаша одной из этих тарталеток пукал на трубе в оркестре Поля Васильевича Мориа. Надеялся, как всякий благочинный хрен, что все ее платья окажутся в одном шкафу. Мечтал, то есть, отправить свою непорочную хризантему учиться в Москву — на кафедру международных отношений.

Но тут возникает на пороге Эрик Клэптон со своим резиновым медиатором. Со своей растянутой вместо пяти минут на полчаса сольной струной. А может, это был Джо Дассен со своей кожаной скрипкой, это неважно.

Зачем, говорит, вам МГУ, когда на Васильевском острове есть Институт каучука! И ботинками на манной каше перед носом у нее сверкнул. Собрались и уехали в Ленинград на гастроли. И ее папаша свои уши там же развесил. Только международные отношения так и не оформили — хиппи, что с них возьмешь!

*Jeanne. Запасная струна
21 августа, 17: 13*

И когда во сне тебе вздумается поднять голову к небу, оно окажется таким же, как и в твоей мнимой реальности. Ибо у неба нет вариантов.

Ну и вот. А у Семеныча в пиджачном кармане завсегда хранилась запасная струна. Чтобы чужую душу, значит, в случае чего на колки не мотать и даром по сцене с датчиком не мельтешить. А тут как-то смотрит — в руках у него не гитара вовсе, а мощный коротковолновый радиопередатчик. И Оська Бродский на первом ряду на его французские шлепки уставился. Что делать? Приладил струну вместо антенны и всю правду про коммунистских крыс в тот микрофон, как есть, передал. Не прямым, естественно, образом, а зашифрованным — под старика Лафонтена. Пусть, говорит, приходи с буржуями у нас разные, но небо-то — одно!

Но тут смотрит, а в руках у него и не передатчик вовсе, а пустой черепок из театрального реквизита. И струна из него навывлет торчит. Прямо в зал, где весь цвет советской интеллигенции после буфета снова собрался. Как так? Ну, тут Высоцкий драматическую паузу, конечно, мастерски выдержал и говорит — мертвым извилины не нужны, дорога у них прямая! И струну эту во внутренний карман — рядом с фотокарточкой Машки Матье — аккуратно, к сердцу впритык, обратно приложил. И сорвал опять-таки бурные продолжительные аплодисменты. Но больше Гамлета в этот сезон не играл.

*Jeanne. Индейское лето
29 сентября, 22: 17*

У многих есть четкий жизненный план — как у таракана на неубранном кухонном столе. Мне нужно съездить на неделю в Сыктывкар, или у меня уже запланированы выходные. Он действует, пока не прихлопнет сверху.

Ну и вот. А Джо Петрович Дассен был профессиональным гонщиком по ушам, преимущественно — женским. Но однажды не над той бухтой расчехлил свой парашют.

Метнулся по ночному пляжу в кусты на огонек, а там Володя Высоцкий в золе картошку запекает. Сейчас, говорит, девчонки искупаются, и мы поедем. И с этими словами достал из-за спины гитару и бросил в костер. И тут языки пламени его лицо озарили, и Джо Дассен увидел, что это не Володя Высоцкий вовсе, а президент Франции Жискакар д'Эстен. Пора, говорит, тебе, Джонни, завязывать с выпивкой. И вмазали на прощанье — за ракеты средней и меньшей дальности. И не успел Джо Петрович Дассен расстелить свой макинтош, как закончилось еще одно индейское лето.

*Jeanne. Бутлег Высоцкого
8 октября, 22: 02*

Когда что-то умеешь, считай, это уже не твое. Когда у тебя нет проблем с алкоголем, когда у алкоголя — проблемы с тобой. Ну и вот. А Джон, Который Почти На Все Дассен, любил испытывать чужое терпение. Самому-то ему, видите ли, никогда не терпелось. Звонит Володе Высоцкому, так и так, не могу в одного плафон закончить. Приезжай, и пусть будет у нас обоих сегодня нестроевич. Да ну тебя в жопу, говорит Высоцкий, сейчас, погоди, вот только одну неявную рифму подберу и сразу приеду. А ты там кушетку тоже не дави, Машке Матье позвони и в лавку за мерло поддудонься. А в тот вечер был большой шабаш в Кремлевском дворце съездов, и они там решили первую советскую гитарную примочку испытать. И как раз стучачи Леониду Брежневу доложили, что у Высоцкого новая антисоветская песня на подходе. Так и так, пусть, мол, нам тут ее сбачает, а мы выпустим потом на фирме «Мелодия». И снарядили к Семенычу делегацию. Идите, говорит, в жопу, никуда не поеду, пока рифму не придумаю. Если вам так приспичило, везите сами сюда свою примочку и делайте телемост. Что делать? Бросили кабель, зафузили Высоцкому инструмент. Сидят — одна бригада в квартире, другая — во дворце, уши развесили. И тут Высоцкий говорит, что-то, ребята, у меня рифма не прет, подождите меня тут, а я за бутылкой сбегаю. А они все

свои камеры наблюдения к нему на Малую Грузинскую свезли, так что Володя, никем не замеченный, мухой в аэропорт метнулся, и скоро вместе с Машкой и ее пилотом у Джо Дассена на кухне вовсю пировал. А на мелодии коммуняки какой-то бутлег тогда все-таки выпустили, дожали-таки свой телемост!

*Jeanne. Лунная прокламация
October 23, 2011*

Можно сосредоточиться только на одной вещи. Все остальное присутствует «как бы». Как бы зонт, раскрытый наоборот, как бы дождь, которого не было.

Ну и вот. А Джо Петрович Дассен успел нашампунькаться прежде, чем объявили прогноз погоды. И унес его, короче, инопланетный торнадо в одних подштанниках туда, куда даже Машка Матье на гастроли ни разу не ездила.

Влетает, значит, он со своим джусом в павильон «Армения» на ВДНХ, а там Никита Хрущев с Фиделем Кастро космический корабль ремонтируют. Сейчас, говорят, мы тебя обратно на Луну забросим. А то еще недостаточно мощную вывели из тебя саранчу. Это еще зачем? А будешь там кукурузные поля в Соединенных Штатах, неуловимый, истреблять. Хватит попусту прыгать по сцене.

Подтянули оставшиеся болты, протерли иллюминатор и накинулись джусом. А пока летели, Фидель Кастро француза в детали операции посвятил, рассказал, как лунная гравитация земные пружины ему моментально распрямит.

Встретишь, мол, на Луне свою тень, передавай им эту прокламацию, а то ведь каждому жуку просто так индивидуальный хвост, как у кометы, не приделаешь. Пока сам не катапультируешься из собственного отражения туда, куда даже Машка Матье на гастроли ни разу не ездила.

*Jeanne. (Место для ковра)
October 31, 2011*

Если нащупать край ковра, то можно лечь на него целиком — в центр пустоты по направ-

лению ворса. В яркий кричащий узор на полу в сиротской прихожей. Там, где сломанный пылесос и утопленная кнопка звонка.

Ну и вот. А в Японии жил как-то один художник по прозвищу Мокрито Сыровато. В отличие от своих холстов он никогда не просыхал. Что, однако, не умаляло красоты его картин, и слава о них, как водится, вскоре достигла самого императора. Ну и, короче, послали гонца, который велел Мокрито незамедлительно явиться во дворец, чтобы нарисовать портрет царственной особы. Что делать? Сшил из холста сумку для sake, но до Токио не дошел, а уснул пьяный на полдороге. Очнулся ночью, вокруг волки, и чувствует, что скоро станет на земле сыровато от крови. И тут один волк говорит, а помнишь, старик, как однажды, допившись до беспамьяства, ты возомнил себя художником и бежал, ослепленный безумием, из столицы? И осиротел твой народ, одичал совсем и сбился в волчью стаю. Но ты не переживай, мы все равно тебя съедем, вот только холст расстелем, ибо земля не принимает царской крови. Ну и тогда, значит, Мокрито Сыровато встал на свой холст и мигом вознесся на небеса. А вот протрезвел он там или нет — это уже совсем другая история. Так что, дружок, если хочешь найти себя, не посылай гонца, а надейся только на собственные силы.

*Jeanne. Повод встретиться
November 1, 2011*

Говорят, чтобы встретиться, нужен повод. А нужен ли повод, чтобы повидаться со смертью? О ком тикает секундная стрелка, кому, как не ей, ты машешь рукой и посвящаешь стихи? Она — самый весомый повод в этой жизни, состоящей из сотен никчемных randevu.

Ну и вот. А Машка Матье назначила русским лабухам встречу в московском ресторане. Да там дорого! Дорого — в швейцарском банке на пороге насрать, я угощаю! Ну, раз так, повторили графин, сидят, картофель вилками ковыряют. А за соседними столиками чествовали победителей социалистического соревнования на ламповом заводе. А давай-

те, говорит Машка, сыграем им «Подмосковные вечера»! Даром, что ли, бухло трескаем? Ну, и только настроили аппарат, вылетело электричество. Что делать? Пригласили, короче, французскую гостью за свой стол. Взялись там все за руки и засветились от счастья. Такие были в те времена энергосберегающие технологии. Да здравствует Франция!

*Jeanne. Чужой шезлонг
November 3, 2011*

Можно ли повернуть шляпу, не поворачивая головы? И как быть тогда с париком? Лучше всего выполнять данный маневр всем корпусом. Ибо мир, несмотря на кажущуюся простоту и благонадежность, склеен из миллиарда иллюзорных деталей — на манер зыбкой паутины. И вариантов имеется два: либо вырваться, либо сдохнуть.

Ну и вот. А Джо Петрович Дассен однажды споткнулся на рыбьей чешуе и упал в чужой шезлонг — прямо на одну голенастую красотку. Ну, и как водится — на Олимпиаду-80 не поехал. Самоустранился из культурной программы. С утра, как положено, обменялись телефонами, и только Дассен залез под душ, отключили воду. Что делать? Махнул в воздухе конями, поскользнувшись на мыле, и потерял сознание. Очнулся на стадионе в Лужниках. А Ленька Брежнев ему на шею медаль дружбы народов вешает. Шерше ля фам, ему на ухо шепчет, комсомол тебя не забудет! Как так? И тут на сцену поднимается та самая пляжная знакомая — с большим букетом пышных мимоз. Обменялись с ней пионерскими галстуками и весь вечер потом гуляли по цветущей Москве. Вот такая интересная работа была у наших разведчиц.

*Jeanne. Республика без границ
November 13, 2011*

Какая разница между энергией и деньгами? Если тратить неразумно деньги — очутишься на дне выгребной ямы, если бездумно обращаться с энергией — сточной канавой станешь сам.

Ну и вот. А Джо Петрович Дассен обладал даром расплывчатости. Ну, и заделался как-то пятном на ковре. И тут заходит в кабинет Жорж Помпиду и начинает репетировать свою речь в Генеральной ассамблее. О миротворческих свойствах ракет средней и меньшей дальности или о разрушительной силе de l'art contemporain в эпоху ядерного баланса — это неважно. И только за графин взялся, чтобы глотку промочить, как Дассен перед ним в образе Фиделя Кастро мимикрировал и говорит, ты, мол, артишок, нам свободу музеями не заменишь! Даешь твой гнилой французский либерализм на наш свежий кубинский potatos! И в le visage президенту хуком справа заехал.

Очнулся на трибуне в ООН и тут же предложение внес о налаживании взаимовыгодной торговли с Островом Свободы. И тут же все замолчали, как коммунисты на допросе. А Помпиду и говорит — как, мол, тетиву не натягивай, стрела сама найдет свою цель. И «Интернационал» запел. И Джо Дассен тогда веселящим газом по враждебно настроенному залу лиги наций расплылся, и у всех тоже языки развязались. Поддержали, короче, нашу резолюцию. Да здравствует всемирная республика трудящихся без границ!

*Jeanne. Гравитационный тупик
November 14, 2011*

Разве может быть узкая нора бытия истинной реальностью, а бескрайний мир по ту сторону барабанной перепонки — его крадущейся тенью? Подлинность реальности — как возраст, объективное значение которого не имеет границ.

Ну и вот. А Джо Петрович Дассен всегда имел мощный приход, хотя ни разу проповедником не работал. Ну и как-то звонит своему однокласснику во «Франс Пресс» и говорит, не надо, мол, больше псевдонимов и фотографий, Коля. Будем читать одну «Московскую правду» и не иметь буржуазных иллюзий. И демонически в трубку захохотал. А потом выпил полбутылки абсента и прошел сквозь стену — прямо в советский НИИ, где грави-

тационный тупик для Байкало-Амурской магистрали строили. Что, говорит, парни, споем на прощание? И улетучился на последнем куплете des Champs-elyses, прямо как Гордон Фримен во втором «Халфлайфе». А Леньке Брежневу или Франсуа Миттерану — это неважно, от него потом посмертная записка по телетайпу пришла: меня, мол, в этой жизни больше уже ничего не притягивает.

P S.

Как справедливо заметил товарищ Че, Джо Петрович имел не только мощный приход, но и мощный расход.

*Jeanne. Пижамная знакомая
November 18, 2011*

Каждый транслирует в астрал собственную проекцию. Там они сливаются в одну общую панораму. В потоке чистой, не замутненной тщетными умозаключениями энергии открывается проход сквозь этот экран.

Ну и вот. А у Джо Петровича Дассена одна знакомая была: только он в постель, она тут же рядом с ним — в пижаме. И никакого сладу с ней не было. И вид у нее был — вареная с овощами: вместо горячей любви одни холодные закуски. Сидит, бывало, ночи напролет на краешке дивана и пишет письма Володе Высоцкому в Кремль. Строчила такой мелкой гарнитурой, что без лупы не разберешь. Вся переписка у них через Леньку Брежнева была — чтобы ядерные секреты даром не разбазаривать. А потом зачехлит пишущую машинку и снова к Дассену в кровать. И все мурлычет, свернувшись калачиком у него за спиной. А по правде — служила в тайной gendarmerie женщиной-кошкой и внушала своему кумиру ложные данные об обороноспособности НАТО. А в ЦК всю эту вчерашнюю туфту словно свежую овсянку каждый день лопали. А вот Владимир Семенович таких буржуазных наклонностей не имел и из пижам своих кошек быстро вытряхивал. Обходился, короче, без телепатии — одними соцреалистическими приемами.

Александра Шиляева

Праздник



* * *

Мы сидим в темноте.
Оркестровая яма
Сберегла музыкантов
На чёрные дни.
Завывает тромбон
И слегка подпеваает кларнет.

Мы сидим в темноте.
Инструменты звучат.
Музыканты спешат,
Ледяными костяшками
Двигаясь по телам
Инструментов.

Мы сидим в темноте.
Пианист босоногий
Пробежал по лезвию
Клавиш немых.
И как кит выплыл
Шёпот гитар.

Мы сидим в темноте.
Свет включил потолок.
Звонок. Первый, второй...
Шестой звонок...
Дирижёр не успел!...
Мы сидим в темноте.

Дворник

«Господи, вынеси мусор», —
Дворник с утра молился.
Так хорошо ему было
В тёплой утробе дивана.
Красные птицы орали;
Он даже не удивился.
Сон ему нынче снился:
Его целовала мама.

В твёрдой кирпич-подушке
Дворник с утра смеялся:
Радостно ему было
Себя ощущать хрупким.
Он на плечах папиных
Как на родео катался.
Папа как бык бодался
И становилось жутко...

В каморке у дворника душно:
Стукачи и врачи надышали.
Вынесли мусор из дома
На подбалконную свалку.
Дворник летел на ракете,
Когда его откачали;
Красные птицы орали,
Осень крутила прялку.

Праздник

Праздник, дети. Папа умер.
Маму больше не обидят.
Под забором в огороде
Нет, никто не наблюдёт.

А в подвале будет целой
Синеглазая картошка,
И бочонки с огурцами
Здесь дождутся Рождества.

Праздник, дети. Папа умер.
На работе будет просто;
Там из белого фургона
Нужно вытащить мешки.

Дочку больше не накажут,
Сына больше не прогонят,
Громких маминых истерик
Люди больше не услышат.

Праздник, дети. Папа умер.
Хоронить его не будем.
Тяжело копать могилу,
Просто выкинем в болото.

Шар-океан

В день, когда рухнут пристани,
Люди оденутся в простыни
И потеряют истину
В большом океанском торжище.

Ликуют сытые чайки,
Ликуют адамовы головы;
Истина в облаках
Такая лёгкая и новая.

Небо сменилось над шар-океаном,
Гладит глаза чистой лазурью;
Праздновать ли возрождение света
Или маяться дурью.

Но всё чернеет. Буря шарашит,
Шар облепив белыми пенами.
Истина в облаке была светлой,
А спустившись, всех сделала одним целым.

Мёртвый шар-океан
Разносит счастливые массы.
Целое-одно. Белое.
А правдивое лишь горелое.

Ян Кунтур

Бер блет



*«...Увидеть друга верного милей,
Чем моряку в волнах лазурь увидеть...»
Еврипид «Орестея»*

«Бер блет! Бер блет!» — промчавшаяся сквозь электричку кассирша с новеньким умным билетопечатающим аппаратом на черном ремешке, вызвала легкое волнение воздуха. Она словно боялась, что кто-то из сидящих на жестких лавках действительно схватит её за рукав и захочет оплатить своё перемещение в знойном пространстве под Всевидящим Оком. А последнее, довольно низко скатившись к горизонту, продевало вагоны на свои лучи, врывавшиеся сквозь правое окно и вываливающиеся, получив полный отчет, из противоположного. И наблюдавшему с соседнего берёзового холма пастуху казалось, что окна вагонов сами вспыхивают попарно и поочередно: от головы к хвосту; а может быть, ему казалось, что какое-то ослепительное существо проносится по составу следом за спешащей кассиршей и требует (согласно своей светоносной природе) справедливости. Но справедливость вещь относительная: кто более справедлив — монополист-железнодорожник, жестоко повышающий цены, зная, что клиент никуда не денется; или же обни-

щавший пассажир, пытающийся (не от хорошей жизни, конечно, или тяги к приключениям) перехитрить, выждать еще одну станцию, выгадать лишний рубль?

Из-за моей спины бренчит старый добрый рок-н-рольный мотив: перезвон раскованной гитарной тусовки... Неумирающий Цой, поделенный на десятерых, совершающих, по-видимому, сезонную миграцию «на собаках» из забытого Богом тяжелопромышленного пункта «А» в многообещающее длинноволосое, ни к чему не обязывающее братство, явочную сеть, можно сказать даже: «систему» всеобщего неформального братства пункта «Б», и дальше — до пункта «В», «Г», «Д» и, наконец, до пункта «Z», но это уже за перспективой, где-нибудь в Копенгагене, в Вудстоке... Вот так же и я когда-то... Но сегодня Вудсток это уже история, вернее миф о «Золотом Веке Предельной Свободы» из прошлого столетия... Да и тянуло меня все больше не на Запад, а на Восток и Юг... Раньше я бы как свой ненавязчиво внедрил в эту компашку, тут же излил душу, на час превратившись в Одиссея на феаковой Схерии, и под взглядами обисеренных навсикай вписался, породнился, обменялся... Раньше... Когда-то...

Джинса осталась, но хайральники сменили банданы, а длинные патлы, к счастью, перестали вызывать бурную реакцию у встречных бритоголовых... Другое поколение, поколение первых годов XXI в. от Р.Х. Поколение, свобода и раскрепощенность которого более естественны, чем наши, отдававшие комплексами и нарочитостью эпатажа, но что поделать: они были революционны враждебной среде, так же как принципы свободной любви — для атеистических иконолюбков. Они были вызовом и поэтому выражались в агрессивных, несколько плакатных формах.

О, как же я раньше сопротивлялся и даже боролся против жизни, в фантик которой завернут сейчас! Лубочный фантик со штампованной улыбкой чеширского кота на блестящей липкой картинке... Растворяюсь вместе с этим ярким улыбочивым ляпом... Но все-таки у меня есть прививка. Это прививка Эпатажем. Он необходим на определенном этапе, потому что позволяет разом спрыгнуть мустангом-иноходцем с обрыва от всех комплексующих установочных загонов и каркасов, которые были выработаны цивилизацией для самосохранения, но превращены за столетия в пустые схемки-программы, принимаемые как данность, как абсолютная истина. Большинство следует этим схемам машинально, не родив их из своего «я», не выпестовав как Мудрость. Это просто зомби — запрограммированные роботы, не понимающие, почему так, а не иначе. Для них «вести себя прилично» это высшая планка: добропорядочность, потому что так принято, а не из-за свободной внутренней необходимости, рожденной в муках, когда ты *не делаешь другому так, как не хотел бы, чтобы поступили с тобой*. А эпатаж позволяет освободиться от всех этих условностей, чтобы обрести себя: Человека... Ищущего Человека. Так поступали наставники дзен и даосы, суфии и гимнософы... *Сядь голым на рыночной площади с мешком орехов и кричи всем проходящим мальчишкам: «Орех каждому, кто поставит мне щелбан!»*...

Правда, беда многих пошедших по этому пути, что первоначальная ступенька «Эпатаж» стала для них главной, если не единственной. Но это ловушка: ведь освобождаясь *формально* от комплексов и условностей, тут же попадаешь под другие, психологически более тонкие, и настоящего освобождения не происходит... Вечно эпатирующие седовласые юноши-семидесятники: позитивный цинизм, перерастающий в нигилизм, беспринципность и хамство... Но когда ты *подлинно* освобождаешься, необходимость в эпатаже отмирает как атавизм: от чего освобождаться *свободному*. Вот тут-то и раскрывается по-настоящему девиз: *Не делай другому так, как не хотел бы, чтобы сделали тебе*.

И я нарушал привычные нормы, вносил исключения и поправки в общие правила-аксиомы, давал «пощечины общественному вкусу», но без агрессии. А когда старый, «*познавший главное*», хиппи говорил мне в нудистской бухточке под Судаком: «Работать нужно — нет

смысла в абсолютной свободе...», я только кивал (хотя и сегодня я не соглашусь с ним в полной мере: в Абсолютной Свободе есть смысл, как есть смысл и в свободе от общества, и в свободе от обязанностей перед ним, как есть смысл и в свободе от себя самого, перед еще большей Свободой Себя Самого).

Но настоящих хиппи и хиппизма я уже не застал, не успев вовремя выбраться на свет: то, что я видел, было уже лишь формой, игрой, стилизацией, а мне были в чем-то внутренне близки по отношению к массовке классические хиппы Америки 60-тых, для которых эта форма была жизнью. Я тусовался на диких пляжах Южного Крыма и подсвистывал спорным блюзам перед туристскими шествиями на узких богемных улочках курортных городков. Хотя, в отличие от адептов-классиков, я все-таки работал зимами в дворниках-сторожах. Это был мой карьерный рост в сфере культуры и народного образования: сторож-дворник детского сада — сторож хореографического училища — сторож кинотеатра «Художественный»... Но лето всегда было свято. Лето было периодом познания мира и себя в нем. И если кто-то из начальства на очередной из «служб» не соизволял дать мне отпуск, он получал заявление об уходе. С любого места уходил с лёгким сердцем, не имея привязок; уходил, чтобы утопить свое тело в *настоящей* жизни.

Так я «разрушал» себя, вернее, «ЕГО» (того, кто был сделан другими из мусора общих мест), чтобы свалить заново таким, каким самому себе больше нравился, следуя процитированному выше девизу. *Не делай другому так, как не хотел бы, чтобы сделали тебе.* Поиск был единственной целью, притягивавшей моего биоробота. А идеалами — Кратет и Гипархия (от неё я вообще был без ума, хотя понимал, что это всего лишь предание, исторический анекдот а-ля Лаэртий, ведь такого просто не может быть).

Но «я опоздал на пиршество Расина». На смену Ренессансу (который к предыдущей цитате, конечно же, не имеет ни какого отношения) уже пришел притягательный Маньеризм, подготавливающий барочные интуиции. И поэтому мой черно-белый хайральник был другой природы: порождение конца века — символ и связь с мета-историей. Когда кто-нибудь спрашивал: «Зачем тебе длинные волосы, ведь жарко и неудобно?» Я отвечал (согласно внешнему виду вопрошающего):

- a) Как бывалый горно-таёжный бродяга: «Это, старик, чтобы гнус не кусал уши и шею, а зимой не замерзала голова под капюшоном.»
- b) Как убежденный анархист: «Знаешь, товарищ, длинные волосы во все века были символом свободного человека, а бритый череп — знак рабства, знак раба, знак подчинения и шаблона. В армии это возведено в принцип, там не должно быть людей, а только единицы, поэтому необходимо, чтобы все минимально отличались друг от друга, как патроны в пулеметной ленте; все были на один затылок. Тот же способ унижения человеческого, индивидуального на «зоне». Как только я вырвался из СА, комиссованный за два месяца до дембеля с прогрессирующей травмой позвоночника, так тут же отпустил волосы...»
- c) Как настоящий мистик: «Я знаю, ты это должен понять, твой вопрос не случаен, он предопределен... Тебя подвели к нему свыше. Волосы это как бы хранилище духовной информации, копилка предыдущего мистического опыта. Вспомни Самсона — вся его сила была в волосах... Ламаисты, индусы-бхакты, католики бреют волосы при посвящении, чтобы стереть прошлое (прежний опыт) и родиться заново. Волосы являются также тонкой связью с Космосом, с Высшими Мирами. Так это было у древних славян, носивших длинные волосы и бороды, и перешло в православие. Это же, как помеху, интуитивно ощутил экстремист Петр I, рубя бороды, стирая прошлое. Подобные методы волосяного символизма до сих пор используются у сикхов (запрет стричь волосы в течение всей жизни) и у йогов-аскетов (садху). А лама-учитель использует пучок темных волос ученика для духовной связи с ним через сотни километров. Своего рода антенна... Я

знаю, ты меня понимаешь... Ты просто должен понять. Твой приход обусловлен свыше, ты подготовлен к этому положительной кармой...»

- d) Как обыватель-эстет обывателю-«гопнику»: «Ну, понима-ашь, как бы тебе объяснить... (изысканный гламурный жест рукой с растопыренными пальцами)... Вот тебе нравится короткая стрижечка, типа там височки-затылочки. А вот у меня, приятель, твой просвечивающий череп вызывает чисто чувство прямого омерзения, конкретно антипатию. Ну, не в кайф, понима-ашь. Но при этом, дружище, я ведь не требую от тебя пустить длинные волосы...»

Да и нет у меня денег на парикмахерские...

В Перми тоже была своя тайная неформальная «система», где находили себе место порвавшие с родителями, сбежавшие из отчего дома недопёски-подранки + иногородние студенты + прочая питательная среда. Это была свободная жизнь на тайных квартирах-коммунах, по-другому «вписочных флэтах» (одна из них — та самая «Калифорния»). Там была общая пища и одежда, открытость отношений, свои неформальные «мамы» и «папы». Почетно было ходить в «сынках» такого тусовочного лидера, которого с благоговением принимала любая из коммун. А любые вести передавались из уст в уста, и довольно быстро. Это была своя культура, свой язык, свои приколы, непонятные чужакам — объектам для стеба. Плели бисерные браслеты, ксивники-напузники, хайральники, амулеты; лепили из круто просоленного теста забавные статуэтки, называлось все это «фенечками». Появлялись колоритные гротескные типажи, наподобие необъятного, буйного, вечно пьяного Моцарта или сокращенно Мони (имена тоже давались новые, известные только в «системе»). Из искусств на верхней планке был «рок» во всех его проявлениях и прежде всего, умение его бацать, а тем более делать что-то своё. Многие просто жили по законам рок-н-ролл-энд-блюз. Одним из таких временных пристанищ ночной жизни, куда я забредал изредка, был круглосточный хлебный магазинчик на улице «25 Октября» — 27, принадлежавший мамаше Макса Зильбермана — трогательно доброжелательного юноши в интеллигентных очках, длинных светло-русых волосах и румянце при высоком росте с вакховско-рубенсовской телесной пышностью и крепкими волосатыми руками, снующими между стеллажами с буханками и гитарой.

Зная многих «системщиков», сам я глубоко не погружался в это. Никогда в юности не порывал с домом полностью, никогда не жила напостоянку во вписочных флэтах. У меня был свой неизменный порт прибытия и отбытия, своя промежуточная, но постоянная гавань с огромной, на всю стену, яркой этнокартой СССР. На ней были отмечены города и маршруты, как пройденные мной, так и запланированные (особенно привлекали серые пятна слабозаселенных территорий). На других стенах зияли, словно окна с видом на Эльбрус, фотообои высокогорья + три репродукции: Дали, Да Винчи, врубелевский «Демон». Самодельная девдовская этажерка была перекошена от тяжести книг + трофеев путешествий + всевозможных реликвий + гитары, купленной (как и слайдоскоп) на первую зарплату, но так и не освоенной, припасаемой для гостей.

Когда же противоречия с отцом стали невыносимы, я перебрался к бабушке. Одна из её двух комнат стала моей цитаделью, моей Зеленою Башней: зеленые стены + зеленые шторы + зеленые покрывала + зеленые лесные фотообои. Здесь же, в старом бабушкином шкафу, нашла убежище моя, все более разбухающая, библиотека (мечта собрать все переведенные на русский шедевры мировой литературы)... Библиотека, занявшая, кроме шкафа, и прочие горизонтальные плоскости, вызывала раздражение хозяйки, постоянно сетующей соседкам: «Задушил меня уже своими книжками...». Одно время на шторах висели репродукция Сезанна «Арлекин и Пьеро» и картинка с индусским храмом Элора. Позже украшением этой

комнаты стали картина Николая Зарубина «Спас (для Кунтура)», который глядел на меня сквозь треугольники майской листвы строго и тепло и одновременно куда-то внутрь себя. И еще его же картонка с хохловским этюдом (все это также в зеленом колёре).

Много примечательных персонажей побывало в Зеленой Башне, особенно когда бабушка отбывала потусоваться-постоловаться в Киров к своей младшей дочке, моей тете, заведующей пульмонологическим отделением областной больницы. Перед отъездом она давала строгие наставления: как и что нужно вершить, как и что можно есть — ее поколение, пережившее войны и голод, было научено делать добрые запасы на черный день, прежде всего крупы, муку, сахар, варения, соленья. Они, конечно, постепенно портились, горкли, сахарели, но все равно хранились. На них-то я и жил, оставляя свои сторожевые сбережения для путешествий, изредка балуя желудок треугольным молоком. Да и не очень-то хочется есть, когда сутки проводишь в читальном зале областной библиотеки, насыщает книжный запах.

Я любил своих гостей, хотя мне, привыкшему к аскетизму, не всегда хватало житейской мудрости и понимания к их нуждам. Для меня этот период был самым счастливым временем. А однажды вместе с Дмитрием Байдаком, я попытался создать в своей «Зеленой Цитадели» литературную тусовку, получившую ироническое название «Поэтический Клан «Хиатус» (лат. «зияние», «брешь», «дырка») имени Тильберта Фламандского». Выбранный «святой» патрон намекал на наше отношение к жизни и социуму: в духе средневековых немецких анекдотов об Уленшпигеле.

С Дмитрием мы столкнулись в 1991 году на одной из многочисленных в то время в Перми околодуктивных сходов, искавших новые ценности в

- коллективном чтении Рерихов, Блаватской, Бхагавад-гиты, Кришнамурти, Библии, модернизированных языческих мифов и т.п.;
- коллективном же воспевании мантромолитвопсалмов у зажженных свечей;
- коллективных попытках обсуждать и решать вопросы космогонии, теологии, эзотерики, духовной этики, чаще всего не совсем удачно, так как, в конце концов, все упиралось в не проявленные внешне гордыню, эгоцентристские амбиции и духовное высокомерие якобы постигших глубину ведущих.

Но несмотря на ошибки, эти околодуктивные клубы помогли многим расшатать прежние клетки, расширить кругозор, оторваться от чисто материальных проблем и найти свой вектор движения. Из компонентов этих «алхимических» процессов позже возникли «Общество Рерихов», «Санатанадхарма-Экологос», «Лига культуры». Так вот, на одной из таких палео-сходок-диспутов я, шедший тогда по пути воздержания, смирения и безуспешной борьбы с собственным ложным «эго», не выдержал и обрушился на этого самого хитрого из бесов, вечно искушающих род людской и, прежде всего, уважаемых «духовных» лидеров. Никто меня не поддержал, кроме сидевшего в противоположном углу невысокого сутулящегося молодого человека, очень импульсивного и саркастичного, с короткой стрижкой почти под «ежик» (следствие знакомства с кришнаитами и коловращением в их среде), рыжеватой щетиной на подбородке и выдающимся сверх-орлиным носом (который он сам после перепародировал в своем одекальском опусе). После сходимы мы познакомились, оказалось, он тоже сочинительствует и на следующую встречу он принес мне кипу стихов, частью экспрессивно-эпатирующих, частью изысканных. «Трамвай, как фонарик китайский плывет... тарам там тарам (не помню)... в перспективу бульвара»... А у меня тогда уже вышла в Дементьевско-Беликовской «Молодой Гвардии» поэма «Плиты» и наладились кое-какие литературные знакомства, прошли вечера и выступления по радио, поэтому Дмитрий незаслуженно стал относиться ко мне как к мэтру (и при этом очень бережно), то там, то здесь прибегая к несуществующему, так сказать, авторитету. Он обладал необыкновен-

ной энергией, которую благосклонно позволял направлять в нужное русло, и тогда можно было пробить любую стену. К тому же раньше, еще до кришнаизма, он занимался классическим марксизмом в кружке (не дай Бог соврать) каких-то «новых коммунистов», изучавших подлинные труды апологетов и стремившихся построить «социализм с человеческим лицом», поэтому имел много своих ценных контактов. А вообще, он всегда был хорошим и преданным другом.

Кроме него, «Хиатус» объединил еще нескольких членов:

- Неисправимого романтика, вечного вьюношу с добрыми глазами Юру Шевцова;
- Пламенную (не только в смысле цвета волос) Ингу Александрову, поклонницу Ахматовой;
- Классического акмеиста Рому Мамонтова (я с ним сталкивался раньше в «Молодушке»), писавшего тогда тексты для группы «Музыка народов Нагорья».
- Ну, и других «нагорцев» (с которыми я был знаком еще по «ШЗС»), их этно-психоделия была мне очень близка, а именно:
- лидера группы Макса Путина (он сопьется и умрет от слабого сердца) и
- Антона Борисова, напоминавшего мне Джека Восьмеркина.

Макс вынашивал тогда идею композиции «Агасфер»... «и скрипнет половица под ногой Агасфера...» (Мамонтов). У меня тоже был акростих «Агасфер»... «Арка триумфальных бдений \ Грезит, впитывая тени \ Аравийскими песками время сор следов заносит — \ Сыпь, сцепившую планету с вечным странником бездомным. \ Факела истлевших жизней мозг тысячелетний носит \ Ест раскаянье трахеи: \ Равви, не покоя жду я... Вздоха легкой передышки...»

Мы собирались, слушали музыку, читали свои творения, высказывали мнения, что-то обсуждали, пытались найти общую линию, уточняли какие-то детали.

Совместно, путем «тайного голосования», составлялся сборник, и он бы вышел, но... Финансовая ситуация в стране постоянно менялась... Энергии Дмитрия хватит потом еще на две книги, в том числе на «Три книги под одной обложкой» (объединивших трех авторов меня, Дмитрия и еще одного... забыл фамилию) с иллюстрациями из Пикассо и эпиграфом из аполлинеровской «Рыжей красотики», но это уже после «Хиатуса». Эти книги также, дойдя до верстки, не вышли из-за очередного падения рубля. В конце концов, Клан распался: нас мало что объединяло, общей идеи сформировать не удалось. Хотя когда я уходил в путешествие-паломничество до несуществующего ашрама Доза-Ламы в Мезмае, надеясь, что безвозвратно, мне возражали прямо-таки цитатой из «Маленького Принца»: «Раз ты нас собрал, то на тебе ответственность и ты должен вернуться». Ожидаемого от путешествия не случилось, и я вернулся. Мы снова собирались, но продержались недолго. Остался только наш с Дмитрием тандем, который объединялся общими взглядами на окружающее. Мы были близки тогда к некому символистско-сюрреалистическому началу, искали новые слова, формы, неожиданные ракурсы, пытались достичь многослойности содержания, глубины подтекстов, выражающих то, что невозможно высказать впрямую в речи. Нам нужно было пройти тот же путь, что преодолела в начале XX века литература латиноамериканского модернизма: переварить весь мировой литературно-мифологический опыт, все традиции, чтобы освободиться от провинциальной узости и вернуться к себе. Дмитрий прекрасно впитывал близкие ему идеи, превращая их в свои и доводя (на сколько позволяло умение) до Акме.

Областные литературные конкурсы, организованные Дмитрием, на базе Независимых профсоюзов «Солидарность» (те самые «ценные контакты») и попытки собирать клубы в Пушкинской библиотеке под патронажем Риммы Алексеевны Долгих — это уже другая история, которая познакомила нас с Сашей Кузьминым, Юрой Калашниковым, Сережей Назаровым, Димой Банниковым, Анатолием Субботиным, Владимиром Киршиным и другими. Вспоминается еще коллективный концерт в зале краеведческого музея на ул. Сибирской, куда просочилась без нашего ведома Татьяна Геркус. Помнится, я экстазно читал там, слов-

но декларировал, предвосхищая сегодняшние рэп-ритмы (но это был ритм адреналинового сердца): *«Пепел Клааса стучится о грудь. \Я исчезаю, не обессудь. \В круги да около — вязкая муть. \Я исчезаю, не обессудь...» «Новые сутки — новый Клаас...»*

Дмитрий наивно думал, находясь в некотором поэтическом вакууме, что наш «Хиатус» это единственная модернистская группа в Перми, противостоящая СП, и надо, наконец, объединить левые литературные силы поколения.

Однажды, будучи приглашенными в гости к Виталию Кальпиди, мы узнали от него об «ОДЕКА-Ле», «Обществе детей капитана Лебядкина», что сразу заинтриговало. Дмитрий с моего согласия решил провести разведку боем и завис там насовсем, став одним из активнейших и ярких членов, вплоть до эмиграции в Израиль. Где он и теперь продолжает эту абсурдистско-дадаистскую линию, являясь членом русскоязычного тель-авивского клуба литераторов, а по совместительству сторожем и веб-мастером (до 2003 года, а сегодня — мастером-оператором станков ЧПУ-прим. автора). Помню, как озлоблен окружающим был он перед отъездом. Все его раздражало, а активизировавшаяся тогда деятельность неонацистов, наподобие РНЕ, ЛДПР и других просто пугала. Перед отбытием, сидя на вещах, он дал первое и последнее интервью для телепрограммы «Желтый Проспект». А я в тот же день читал для них же свои вирши на Старом Егошихинском кладбище. Позже в «ОДЕКАЛ» удалось «пристроить» Юру Шевцова. Предлагали вступить и мне, но я ответил, что согласен быть просто другом и поддерживать, но «ОДЕКАЛ» это один миф, а Ян Кунтур — другой... Ведь друзья были тогда для меня ближе кровников (так казалось)...

Ах, Лялька, Лялька... (чуть-чуть лирики будет здесь как раз кстати) кажется, нет ничего проще, чем набросать твой воздушный, акварельный портрет, и в то же время так трудно сделать это, чтобы из него не испарились легкость, непосредственность и непринужденность... Неосознанная мудрость детскости... По-даосски новозаветное отношение к окружающему... *«Взгляните на птиц небесных...»... «Посмотрите на лилии полевые, как они растут...»...*

Ты и была та самая птица небесная, способная, продав свою комнату, остаток быстро разбежавшихся по друзьям денег пустить на грозди шариков, надутых гелием для украшения шествия, которое завершало арт-акцию «Com Atour», и остаться ни с чем. Не помню, где мы встретились впервые, так как в то время я жил или мгновением с разовой, но сильной эмоцией-впечатлением (как и ты), или наоборот запредельными абстракциями, и мало что запоминал из окружающей действительности.

Помню, как однажды, следуя приглашению, я все-таки добрался до твоей комнатки на Горках. Нажав нужное количество раз кнопку звонка, я оказался в твоём мирке, наполненном забавными синими летающими собаками, птицами, цветами. Мебели почти не было. Ты что-то показывала, пела, поила чаем, рассказывала о своих приключениях по городам и весям... И как ты рассказывала! Жалею, что все это осталось незаписанным, а ты могла бы, великолепно владея стилем (об этом же постоянно твердила и твоя подруга Вита Тхоржевская, восторгаясь длинным письмам). Тот мифический и легендарный мир неформальной Москвы, Питера, увиденный глазами неприкаянной девчонки, так и останется теперь белым пятном для большинства. А я читал тебе свои, так сказать, «творемы» и находил понимание. Мы подружались. Да, сегодня детали, увы, помнятся с трудом, воспоминания по-импрессионистически фрагментарны, есть только ощущения. Не помню, бывала ли ты в моей Зеленой Башне. Но голос твой бывал там точно. Не тот, поющий самодельные песенки на французском, другой — из телефонной трубки...

Тебе не нравилось, что по старой памяти тебя называют «Лялька», но это имя передавалось от одного к другому, существу уже независимо от тебя. Не хотела ты, чтобы вспоминали и другое имя «Лис», для которого писала посвящения Виталина, которое было зашифровано в именной бисерной фенечке-браслете. Почему-то ты снова хотела стать Ларисой... И сейчас, наверное, окончательно стала ей...

Если что-то твое нравилось гостю, ты с легкостью, без сожаления и привязанности «по-кавказски» отдавала ему, словно воплощая в яви слова гриновского Грэя *«...Если кто-нибудь жаждет чуда, сделай его, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя...»*. Также поступала ты и со своими картинами. А после того, как у меня появилась блок-флейта фирмы «Орион», твой подарок, которая, оказалось, принадлежит твоей сестре, я остерегался что-нибудь хвалить или мечтать о чем-нибудь в твоём присутствии. К Валентине флейта больше, увы, не вернулась. Я призывал с ее помощью горных духов на священных перевалах Центральной Азии.

Часть упоминавшихся уже квартирных денег пошла на спонсирование моего золотого Тувинско-Алтайского путешествия (конечно же, я все потом постепенно вернул, но ты и не настаивала). Мы были просто хорошими друзьями, хотя твои подруги, наверное, считали иначе...

Две сестры, еще совсем девчонки, после смерти любимой матери оказались запущены в свободное фланирование по жизни: старшая — маленькая рыжеватая огненно-страстная Валя-Кнопка и высокая, темноволосая, воздушная Лариса-Лялька...

У меня сохранилось две вылепленные Лялькой фенечки-нэцкэ. Первая — смешная синяя собачонка с черным носом — воплощение её любимой собаки Дины, которой я уже не видел. А вторая...

Как-то раз, без предупреждения добравшись до лялькиного убежища на Ивановской, я не застал ее дома и решил подождать на лежащем сломанном холодильнике около двери. Время истекло вязкой флегмой, а ее все не было... И тут на меня вдруг навалился громадный, толстый, усатый и, как это обычно бывает, пьяный гопник. Он давно поглядывал из глазка своей ниши на странного длинноволосого «прихожанина», который прилип и никак не убирается из общего «малосемейковского» коридора, а вдруг — вор. И вот, наконец, он решился показать себя. Случилась короткая, но жесткая стычка, главной жертвой которой оказались мои очки. После этого, правда, мы с ним помирились, он даже заманил меня в гости и угощал чем-то горячительным... А раздосадованная на то, что ее гостей обижают, Лариса вставила осколок от очков в феньку, которую назвала «старой тувинкой» (это было как раз после моих центрально-азиатских походов)...

В одно из солнечных Вербных воскресений мы втроем: я, Лариса и ее маленькая племянница Маша (Лялька в ней души не чаяла), снова брошенная мамашей (Валя совершала очередную скачок до Москвы), отправились бродить по пермским церквям. Я исполнял привычную роль проводника. Весна была дружная. По-летнему тепло, а мы — сплошь в джинсе, а может и не сплошь, а только так (по крайней мере я), но сохранилось ощущение такой мобильной джинсовой троицы. А также ощущение очередного полета. Это было первое приближение Ларисы к православию. Наверно, именно с этого дня и начинается ее дорога в монастырь.

А еще, зная, как Лялька обожает Милую Францию и все, что с ней связано, я как-то решил подсунуть ей душещипательную «Историю моих бедствий» Пьера Абеляра, впечатлившую меня. Лара читала книгу очень долго, хотя собственно писание Абеляра, небольшое по объему, занимало там всего 1/9 от текста. Совсем новый том она вернула значительно потертым. Видимо в течение определенного времени книга была у нее настольной, и читалась в любом удобном месте. Когда я спросил ее об ощущениях, оказалось, что до Абеляра-то она и не дошла, так как была захвачена и потрясена первой частью, которую я советовал ей пропустить во избежание лишних загрузов (только не для меня, конечно). Этот текст полностью перевернул ее мирок. Что это был за текст?

«Исповедь» Августина Аврелия (Блаженного). Писание запало в самую душу Ларисы... *«Жизнь, которой мы живем здесь, имеет свое очарование: в нем есть некое свое благолепие, соответствующее всей земной красоте. Сладостна людская дружба, связывающая*

милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить и в неумеренной склонности к таким, низшим, благам покидает лучшее и наивысшее — Тебя, Господи Боже наш, правду Твою и закон Твой. В этих низших радостях есть своя услада, не такая, как в Боге моем, который создал всё, ибо в нем наслаждается праведник, и Сам Он наслаждение для праведных сердец...»

Оказаться в монастыре на Белой горе не было для неё каким-то актом отчаяния, трагедии, фанатичного отказа от мира, это было естественное продолжение прежней жизни, братско-сестринских отношений вписочных флэтов. Сначала она приехала туда в качестве любопытствующей гостьи. Атмосфера и отношение между людьми понравились: они были близки к ее собственным представлениям. Потом она задержалась там на лето, пасла коров, наслаждалась природой, душевным общением, и мечтала собрать там в одну общину всех нас. Наконец, спустя время, уже укоренившись в вере, Лялька решила стать послушницей. Когда я изредка видел Ларису, каждый атом ее был переполнен воздухом счастья.

Хочется немного разъяснить ситуацию. В то время на Белой горе был славный настоятель, по-настоящему душа монастыря, — игумен Даниил. О его мирской жизни я могу говорить только понаслышке: это был человек из неформальной театральной среды, известный своими постановками Борхеса в театре «У моста». И некоторые законы искусства он пытался перенести в церковную жизнь, доказывая, что православие это не что-то отжившее, устаревшее, по сравнению с новомодными религиозными течениями, за которыми потянулась тогда большая часть интеллигенции (особенно творческой), а учение, в котором есть самые глубокие методы постижения Истины, способные удовлетворить искушеннейшего искателя. Очень многих удалось ему вернуть тогда в лоно православия и сделать истинно верующими. Даниил был настоящим харизматическим лидером, люди верили ему и шли за ним. Не так-то много в теперешнем религиозном мире тех, кто обладает настоящей харизмой (в церковной Перми был еще один человек подобного склада, правда, католик, — ксендз церкви Непорочного Зачатия Девы Марии — Анджей Джировский, но и он покинул этот варварский город, способный избивать цепями своих гостей).

А вокруг отца Даниила собралась группа ярких, ищущих людей, и Белая гора стала настоящим духовным центром, притягивавшим к себе.

Мы собрались там на Рождество 1997 года, по почину художника Николая Зарубина, вычислившего своими методами, что именно этот праздник по-настоящему юбилейный двухтысячный день рождения Христа. Поддержал Николая и Слава Смирнов, заполнивший темные монастырские стены легкими бумажными ангелами. Кроме них собралась большая компания завсегдаев Библиотеки Духовного Возрождения («Духовки») во главе с её заведующей Екатериной Субботиной (теперь монахиня в Сербии) и одним из ее общественных лидеров Владимиром Сазонтовым.

Был тридцатиградусный мороз. На горе сильно ветрило. Николай и будущий отец Лука добирались с севера через леса, пробивая тропу по сугробам от Быма. Выбрались они к монастырю к закату, окончательно измотанные и промокшие.

А мы троим шли с другой стороны, уже поздно вечером, в темноте, по дороге из Калинино. Это было двенадцать километров еловых лесов, которые в ночи сливаются с небом, и только где-то вдалеке еле заметный, видимый и не видимый, как рождественская звезда, — желтый огонек. Как оказалось, это была электрическая лампочка над воротами собора. Обморожений избежали, но намерзлись изрядно.

А на Белой горе — просто сказка — всё в инее, от которого обычный электрический провод становится чем-то фантастическим, такой белой анакондой, толщиной в два мужских предплечья, не говоря уже о феерических коралловых деревьях. Собор топился, и над ним

стоял, словно *лествица к небесам*, ровный хвост дыма. Нас по-братски встретили, отогрели, накормили, предоставили лучшие апартаменты. Я рад был снова увидеть Ларису, ставшую кладовщицей и буквально жившей на монастырском складе. Она изменилась, стала сдержанней, более *земляной*, чем воздушной; более благостной, чем парящей.

Во время всеобщей случилось маленькое чудо: когда открыли алтарь и начали зажигать свечи, из Царских Врат алтаря вылетела маленькая белая бабочка-капустница, проснувшись от тепла, покружилась и села мне на руку. А за кирпичной кладкой — три-два-ти-градус-на-я стужа! Зуб на зуб...

Утром, выбравшись на божий свет из гостевого корпуса, мы были еще раз ошарашены: в светлеющее небо врезался черным силуэтом великий Крест, а вокруг сияла снежная радуга от скрытого за ним, поднимающегося солнца...

Но, тот ли из-за роста популярности и зависти, толи из-за узколюбости ортодоксов, не приемлющих новое, игумена Даниила убрали с Белой горы. Поставили очередного церковного функционера. Одним словом, политика, интриги. Собранная игуменом община распалась. Мужчины-монахи разбрелись. Одни — за Учителем. Другие — куда глаза глядят: искать Истину в прочие монастыри и скиты. Ведь мужчина, пусть и монах, более свободен и мобилен, а что делать женщине. Женская часть общины дружно подалась в Усолье, где они преподавали в каком-то православном учебном центре, а Лариса, как мне рассказывали, учила греческому и латыни. Потом большая часть из них оказалась вслед за отцом Даниилом в Югославии, а Лариса — в горном черногорском монастыре Прекобре.....

Железнодорожный контролер с седыми висками и опереточным голосом, тучеподобно нависая брюхом в синеве форменной рубашки, появился как атмосферный фронт над Аркадией, как Зевс, отвергнутый очередной пассией, среди ясного неба. Грубо вытолкав весь мирный безбилетный рок-н-ролл восвояси и наслаждаясь властью «Вечного Швейцара», он притормозил рядом со мной, подозрительно зыркнув на длинный пучок волос из-под зеленой армейской треуголки, но протянутая пятидесятирублевка уверила его в моей лояльности и добропорядочности. Полупочтительно отсчитав сдачу, он погромыхал дальше по вагонам.

За окном хмурится, смеркается. Прохладный ветерок воскрешает раскисшие пломбирные тела пассажиров. А вокруг электрички торжествует иван-чай, переходя в беспокойный закат. Водные паутинные штрихи зачеркивают виды за стеклами. Напротив меня — какая-то спящая старуха-дачница с желтой коростой на скуле пускает слюни по волосатому подбородку — на колени... мирно посвистывает, довольный собой и своим прожитым, её свиный клюв...

белая панама...

охапка гладиолусов ...

«Пока цветет иван-чай... Пока цветет иван-ча-а-а-а-ай...»

7.08.02-31.03.03

Владислав Дрожащих

Маятник на бреющем полете над Камой



Стихоненавистник

Едва научившись грамоте, мальчик кинулся глотать книги — воображаемыми порциями эскимо, необъятными камскими баржами, бесконечными железнодорожными составами. Читал на улицах, не интересуясь цветом светофора на переходах, читал дома по ночам с лампой под одеялом, чтоб не заметили родители, а для разнообразия пел передовые статьи — по газетам, когда дома никого не было.

Книги в городской библиотеке мальчик выбирал по специальным признакам: поогромнее чтоб, подирижаблистее. Все равно: поучительные рассказы Бианки с картин-

ками или рисованная иерархия кораблей военно-морского флота — от катера до линкора. Все равно что, но страницы чтоб величиной с маленькое футбольное поле.

А когда наткался на какие-то запылившиеся стихи под обманчивой обложкой нужных размеров, с отвращением отправлял издание обратно на полку.

Потом из детской библиотеки мальчика выкинули, потому что семья переехала в дальний угол Перми. Сказали: «Мальчик, тебе далеко ездить. У вас там своя библиотека есть....»

И тут я обиделся на всю литературу, перестал читать даже школьные учебники. И тут произошла невероятная перестановка.

Стихослагатель

Неожиданно для себя я стал стихослагателем, сочинителем неизвестных подробностей из своей вымышленной лирической биографии. По вечерам запирался на шпингалет от родителей и сестер (совмещенный советский санузел был моим образцовым рабочим кабинетом) и выходил оттуда спустя две поэмы и пять стихотворений. Это заменяло мне выполнение школьного домашнего задания.

Поделиться лирическими достижениями все же было не с кем, хотя в семье почти все, кроме кошки, сочиняли стихи. И тогда сразу после окончания школы №132 (одноклассников я чуть не отправил на Банную гору — там психушка — тем, что выпускное сочинение изобразил в стихах) тяга к невостребованному общению реализовалась. Два летних месяца я безвылазно пребывал дома, переползая, вскакивая и перебегая от дневного света к электрическому. Людей практически в те два месяца не видел (по ночам — сочинял на кухне, завихренной, засыпанной черно-белым снегом черновиков; днем — отсыпался). Впервые, после стихотворной домашней отсидки, вышел на знаковую балатовскую улицу, как на другую планету, инстинктивно сторонясь солнечной стороны и шарахаясь от неожиданных прохожих, как сумрачный, полуслепой узник Тауэра от невозмутимо яркого света дня.

Семинар на троих

Жаркий прожекторный свет июня ронял мне на голову свой багровый поднос, больно вбивал свои прозрачные каблучки в распахнутые темные устья зрачков, залитых улицей Карла Маркса, и застал меня посередине пермского лета на пути к местному отделению Союза писателей.

В доме рядом с Центральным гастрономом, где в то время размещался Союз, я застал небожителей. Поэт Владимир Радкевич стоял у письменного стола в глубине старинного зала с высоким потолком. Я, почти заикаясь всем своим видом, в ходячем полуобмороке, тем не менее, весьма бодро промаршировал к нему — и протянул листочки со стихами. Тут в зале, как по сценарию, невесть откуда материализовался из солнечного света и откуда-то с потолка поэт Николай Домовитов, рослый, как памятник в соседнем театральном сквере, но чуть пониже того самого старинного потолка. Оба небожителя в тот хороший летний день были под мухой. Не взглянув на стихи, Радкевич повертел моими бумажками перед удивленным Домовитовым и жестом, приглашающим к продолжению распития, показал на меня со словами: «Вот — поэт!» И тут же быстрым движением (говорят, он хорошо играл в настольный теннис) вернул бумажки мне.

На этом литературная встреча в верхах завершилась. Мой первый поэтический семинар на троих.

Виршелюбы и виршеплеты

На финише 70-х в Пермском отделении СП СССР на Карла Маркса, 30 собрали молодых литераторов.

Схема обсуждения рукописей самая обыкновенная: сначала высказывалась дикая молодежная поросль, а подводили итог — литературные мичурины.

Нашим поэтическим семинаром руководили Иван Лепин и Михаил Смородинов. Лепин проставлял какие-то кружочки, минусики и крестики в машинописных рукописях участников, уделяя внимание в основном рифмам, пытаясь разгадать их пол, и при этом ничуть не интересовался сбором урожая прочих прелестных поэтических овощей у нас и в странах СЭВ, и вообще игнорировал международную литературную обстановку.

Смородинов смотрел шире. Иногда, взяв слово, он улыбался и при этом поднимал

указательный палец правой руки вверх. Улыбка у него была связана с движением правой руки. Переставал улыбаться — рука опускалась. Моими стихами двухдневный семинар заканчивался. Сплошные метафоры и звук. Смородинов даже похвалил одно стихотворение, самое плохое и без метафор. А потом с моей фамилии он перескочил на Пастернака и еще кого-то. В завершении речи понял, что с фамилиями перебор, вернулся к моей и прочитал якобы шуточный экспромт, что вот, мол, Дрожжащих поставил достойную точку в семинаре. Так он шутил.

Как такового профессионального разбора стихов при этом не было. Было другое. При случае били в те времена увесистой железной линейкой по рукам тех, кто выпадал из общего стилистического покрова, чтобы прочим иным виршелям и виршеплетам неповадно было.

Впечатлительный виршеплет, наслушавшись всего, встал в самом конце с места и, как на товарищеском суде, заявил: «Клянусь, что никогда не буду пользоваться метафорами». И верно, зато он умело пользовался носовыми платками и вилок.

Время дураков неслось и грохотало всей бескрайней телегой — от моря до моря — впереди загибающегося от усердия гончих псов коника по кличке Кабыздох.

Горизонтальны связи

Отдушиной стало молодежное творческое объединение «Эскиз», появившееся в редакции «Молодой гвардии» осенью 81-го, где я тогда работал. Там, на одиннадцатом этаже Дома печати начиналось новое пермское художественное сообщество. Прошла персональная выставка художника Славы Смирнова. На встречах читались стихи, приходили гости — керамист Мацумаро Хан, будущий кинорежиссер Паша Печенкин (Паша и сам писал стихи).

Устроено все было довольно хитро.

Инициатором был отдел пропаганды, а прикрывал все, даже не догадываясь об этом, все тот же Михаил Смородинов, всег-

да выступавший в конце встречи с заключительным словом, как прокурор, адвокат и потенциально обвиняемый в одном лице. За встречами следовали публикации. Пользуясь своим служебным положением, я тогда протаскил в газету стихи своих друзей.

«Эскиз» — это ладья с самостоятельной командой дерзких и смелых в кипящем океане вранья. Мы ездили с выступлениями по области, приглашали к себе москвичей. В то время при редакции популярнейшего журнала «Юность» работало знаменитое поэтическое объединение, давшее немало самых громких имен поэзии 80-х — 00-х. К нам приезжали руководитель объединения поэт Кирилл Ковальджи (потом именно он даст мне рекомендацию в Союз российских писателей) и тогдашний староста, поэт Евгений Бунимович (сейчас он бессменный президент Московского международного фестиваля «Биеннале поэтов»). Пермь выступала в редакции «Юности» с ответным визитом.

Минувшей осенью я был в Москве, встречался и с Ковальджи — на совместном выступлении в литинституте, и с Бунимовичем — на закрытии биеннале.

Мы двадцать лет не виделись. Все такие же открытые, доброжелательные, как и двадцать лет назад.

Горизонтальные человеческие связи мало поддаются ржавчине времени.

А тот наш давний «Эскиз» — явление, опередившее затянувшийся закат целой эпохи. Поэтому нас скоро прихлопнули, обвинив во всех стихах и грехах.

Вишневые «Жигули»

В мае 84-го пермский поэтический десант вклинился в число участников VIII Всесоюзного семинара молодых писателей. Там было торжественное открытие с приглашением делегаций молодых писателей стран социалистического содружества. И вот через некоторое время откуда-то из Грузии мне присылают вырванную из «Огонька» страницу — с фотографией и коротким сопроводжающим текстом. Смотрю — знако-

мые все клоунские лица! Четыре пермских богатыря, в одном плотном ряду восседающие на том самом торжественном открытии. Один и в самом деле смахивает на двоюродного брата Ильи Муромца. Именно он своей могучей русскостью и курчавостью густого волосяного оклада привлек внимание фоторепортера. В зале сотни пиитов, а фоторепортер предпочел нас.

Так мы прошли фотокастинг «Огонька»

Но это еще не весь анекдот.

Единственным легальным участником из нас был Юра Беликов, служивший тогда на агитпоезде ЦК ВЛКСМ. В день открытия на спинке каждого кресла в зале, как боксерское полотенце, висел свежий номер журнала «Смена» с поэмой Юры о разъездных буднях этого самого комсомольского бронепоезда. Так вот чуть раньше стоим мы в фойе. И вдруг у просторного центрального входа со стеклянными дверьми начинается какая-то заметная возня, будто по ошибке дефицит завезли не с черного входа, а с центрального.

Распахиваются двери — и в прицеле фотокамер первым вырастает в дверях пермяк Игорь Тюленев, озаренный вспышками. Охрана бросается к нему, а он им: «Да ладно, подождите! С ребятами поздороваюсь». И показывает на нас. Игоря пропускают. Наутро выходит газета «Литературная Россия», а на первой полосе огромная фотография: центральная фигура — И. Тюленев в дверях, а за ним услужливо толпится президиум — первый секретарь Союза писателей СССР, комсомольские вожаки.

На свой семинар нас вдвоем с Виталием Кальпиди взял поэт Петр Вегин. К нам он отнесся благожелательно (предложил мне, если надумаю переехать в Москву, помочь с жильем). На третий день на семинаре появился Роберт Рождественский. Так получилось, что мне везет замыкать коллективные трудовые будни литераторов. Я выступал последним из участников, прочитал отрывок из поэмы о поезде, написанной верлибром и построенной на многостраничном определении поезда с использованием ассоциативного ряда метафор (такого, кстати, еще не было ни у кого). Читаю — смотрю: у Рождест-

венского губа начинает кривиться, как линия фронта в гражданскую войну. Читаю — губа кривится дальше, то отступая, то захватывая все новые территории, станицы, базарные площади и стратегические постройки в виде конюшен, мазанок и бань. Я закончил читать — губа вернулась на место.

Кто-то спросил с места: «Где ваши стихи можно прочитать?». А у меня ни буквы не опубликовано. Андрей Князев, будущий кинорежиссер-документалист, продолжал мечтательно раскачиваться на стуле, рискуя свалиться вместе с ним в зияющий провал своей мечты. А Рождественский снова скривил губу и неодобрительно произнес: «Испанская поэзия какая-то...» Такой похвалы неизвестному автору, к тому времени не опубликовавшему ни запятой на родном языке, можно было ожидать разве лишь от божественного Гарсиа Лорки. Да вот незадача, ничего там от испанской поэзии не было. Может быть, это для Рождественского неслыханные по литературной наглости стихи звучали темно, невнятно и непонятно, как на испанском.

Потом мы всем скопом сфотографировались на каких-то ступеньках, Рождественский сел в персональные вишневые «Жигули» и уехал к себе на Калининский проспект.

Истерика слонихи

В середине 80-х нас с Кальпиди звали в литобъединение при Союзе писателей. Руководил объединением замечательный Авенир Крашенинников. Это была ситуация литературного слома в Перми. До этого все было дозировано и традиционно: на одного талантливого несколько дураков. А тут две бомбы. Мы заранее посмеивались над происходящим, но договорились вести себя смиренно, как воспитанные овечки.

Когда обсуждали Кальпиди, взволнованный Коля Бурашников, сразу что-то заговорил про купол Софийского собора, про смальту и неожиданно заключил: «Хорошо, что у нас появился такой Кальпиди».

С места, осаждая, раздался вопль: «Коля, ты что, кого защищаешь?!» Это подала металлический гудок тетка-паровоз, раздуваясь всем своим гневно гугукающим зевом. Эту известную своей непреклонной тупостью и безупречной поэтической глухотой пожилую советскую Эвридику носил бы на руках весь состав ревтрибунала. Коля ответил тихим заборматыванием: «А что, что»... На мясистых плечах безразмерной тетки, кривым ореолом расплывшейся по комнате от чувства своего торжества, засветились погоны генералиссимуса. Сидела воробышком, а тут — на тебе. Назревало утро стрелецкой казни, правда, в женском отделении Союза писателей.

Милейший Крашенинников понял подтекст услышанного и попросил мадам высказываться в более приемлемой форме. Мадам продолжала демонстрировать все знакомые ей извращенные формы литературной ненависти и запугивания по отношению к окружающим. Авенир указал даме на дверь. Ту затрясло, громкий голос куда-то исчез. Дама потянулась к выходу, как толпа упитанных эвридик из кинотеатра после демонстрации фильма «Орфей в аду», и как-то снисходительно, вот так, по-простому, по-партийному, по блоку беспартийных и коммунистов, многообещающе повторила свою угрозу, бросив на прощание Авениру: «А с вами мы поговорим в другом месте». Авенир взорвался и в тот же вечер слег с инсультом.

На следующем обсуждении, уже без Авенира, меня укатали, хотя почти все участники объединения были за меня. Новый руководитель зачитал отрицательные рецензии тогдашних столпов пермской поэзии и литературно-издательской деятельности. Я прямо спросил: «Вы что, боитесь?» — «Да что вы...» — с ангельской улыбкой легкой застенчивости ответил руководитель.

Кроличья шапка Мономаха

Разводить графоманов все равно, что разводить кроликов.

Самому в роли послушного литературного кролика быть не доводилось.

У меня был длительный опыт проведения различных литстудий и семинаров на многих пермских площадках, от детского театра-студии «Пилигрим» до фестивальных. Сразу понял, учить, как правильно писать стихи — бессмысленно, правильность убивает. Надо только подсказать человеку, что правильно, естественно для него самого. Иначе сидеть тебе в кроличьей шапке Мономаха их шуток погубленных тобой учеников.

Маятник возвращается

Маятник поэзии, зазубренной звенящей секирой пролетев над Пермью в нулевых годах и упав в затухающем полете куда-то за пределы туманной видимости, возвращается, преображенным и еще нераскрытым крылатым. В новейших десятилетиях интерес к поэзии вернулся. Стихи в Перми сегодня востребованы, пермское человечество продолжает писать стихи, тем самым идеально увеличивая наш общий мир и свой прожитый опыт.

Именно здесь, у нас, на месте древнего столкновения континентов, тектонического континентального разлома, возникла особая энергетическая подпитка. Живое излучение геомантии напрямую соединилось с энергетическими сигналами космоса.

Уникальные ландшафтные координаты — земные и небесные — создают силовое поле творчества, эффект поэтической линзы пространства. Чтобы увидеть и услышать в творчестве то, что практически невозможно увидеть и услышать в обыденных обстоятельствах, надо жить с учетом своих ландшафтных координат.

На протяжении всей весны 12-го года в Пермской арт-резиденции собирались участники нового поэтического клуба, с которыми с подачи московского поэта Андрея Родионова выпало заниматься мне.

К сожалению, сложилось так, что с продолжением этого интересного проекта возникла неопределенность. Горизонт дальнейшего существования поэтического клуба — в пасмурных облаках. Давайте

дадим объявление в газете: «Требуются гении». Давайте дадим еще одно: «Требуются сторожевые псы». Давайте выбирать. В реальности надо помогать становлению молодых гениев, не флэшмобами, а черновой будничной работой. В реальности живое общение поэтов необходимо культуре. Такого рода клубы, студии нужны будущему русской словесности, а не сторожевым ее псам. Живое общение, стихи — своего рода машина времени. Это равноправное соединение творческого опыта лидеров

и движения других, менее опытных участников, когда за пять минут общения можно перенять знания, к которым самому можно идти годы.

Надо только освободить человека от скорлупичной шелухи, чуточку подтолкнуть — и он полетит. И если отыщется хотя бы один крылатый — это большая удача.

А что до маятника — так зацепимся и улетим. Все вместе. Над Камой, Ориноко, Енисеем.

Иван Козлов

Рифмы с пространством



В Перми открылся фестиваль «Длинные истории Перми», который в этом году был посвящен визуальной поэзии. «Вещь» попросил пермского поэта Ивана Козлова, который вместе с писателем Вячеславом Курицыным отбирал поэтические тексты для фестиваля, рассказать об этом событии.

Фестиваль «Длинные истории Перми» в этом году посвящён поэзии. Во-первых, потому что Пермь в 2012-ом была признана библиотечной столицей России, а во-вторых, потому что поэзии никогда много не бывает. Особенно в городском пространстве — сугубо утилитарном, примелькавшемся, не особо романтическом, короче.

Другое дело, что случайному прохожему может быть незаметно, что на фестивале есть два совершенно разных направления — «Визуальная поэзия» и «Образ строфы». Упустить это из внимания нетрудно, направления очень тесно переплетены друг с другом. И всё же. «Визуальная поэзия» — это вольная графическая интерпретация тех или иных текстов. Другими словами, это в первую очередь картинка, в которой собственно поэтическую составляющую и разглядеть-то можно далеко не сразу — придётся подключить всю фантазию. «Образ строфы» — другое дело. В этом направлении работали не вольные художники, а шрифтовики и типографы, которые наносили на забор вполне конкретный и считываемый поэтический текст. Как раз для этого направления мне довелось подбирать стихи.

Из всего этого должно было получиться что-то вроде альтернативной поэтической картографии. Правда, для этого нужно было чудо, удивительное и почти невероятное совпадение самых разных факторов. Например, художники должны были выбрать из трёх предложенных вариантов именно то стихотворение, которое наилучшим образом подходило к конкретному месту. Допустим, стихотворение о сгоревшем танке имело шанс оказаться напротив воинского кладбища. Забавный стишок о католиках — неподалёку от костёла. А стихотворение Владимира Навроцкого, посвящённое промзоне («Это вот я растворяюсь. На шпале связку ключей найдут. Шепчет промзона «исчезнешь, развеешься». Я не уйду,



я тут, с вами останусь, гордо и медленно реять (витать, кружить). Жирные лужи, серые доски, ржавые гаражи») — собственно, в промзоне.

В итоге всё получилось немного иным образом. Разумеется, совсем не из-за дефицита поэтической интуиции у художников, а по куда более банальным причинам — количество заборов, предназначенных для направления «Образ строфы» в итоге пришлось изрядно сократить, а часть из них (не заборов, конечно, а подготовленных для заборов стихов) перенести на улицу Орджоникидзе — в самое её начало. Это, впрочем, не чья-то странная прихоть, а вполне оправданный ход. Узкую полузаброшенную улочку, ведущую от площади

перед центром «Речник» к Мотовилихинским заводам, необходимо было хоть как-то художественно облагородить, раз уж этим летом она превратится в единственный путь к новым выставочным пространствам в заводских цехах.

Честно говоря, до фестиваля я и о существовании этой улицы-то не подозревал. Летом не упустите возможности по этой улице прогуляться. По одну сторону от неё Кама, по другую — железная дорога; в общем, благодать. Единственное, что её до недавнего времени портило — это как раз заборы, которые были серые и омерзительные. Но ведь теперь-то не омерзительные.

К лету, возможно, ситуация изменится, но сейчас эта улочка большую часть времени абсолютно пуста. Поэтому поэтические тексты выглядят на ней в хорошем смысле неуместными, словно бы случайно самозародившимися среди кустов и гравия. И существуют там не «для кого-то», а просто существуют. В этом тоже есть определённый шарм.

Прописались на этой улочке Ахматова, Маяковский и Эрнст Яндль. А в городе, в свою очередь, остались Бродский, Летов и Хармс. Что касается Бродского, Маяковского, Ахматовой и Хармса — лично для меня ни в факте их выбора, ни в последующей визуализации, не обнаружилось ничего такого уж удивительного или сенсационного. Другое дело — два оставшихся поэта. Стихи покойного концептуалиста Яндля имеют неслабую популярность в немецкоязычных странах, но у нас о нём не слышал практически никто. Досадно, кстати, потому что стихи замечательные. Вот, например, моё любимое:

стихи о природе

сено
море

А что касается стихотворения Егора Летова «Я не видел ангела...», то как раз на него все жалуются, потому что, мол, очень трудно прочитать. Ну а что делать, при обращении к молитве всегда требуется некоторое усилие. По крайней мере, автор проекта интерпретировал доставшиеся ему строфы именно так. И изобразил их в виде стилизации под старый церковный шрифт.

Думаю, так с наследием Летова (который, кстати, всегда считал себя поэтом, а не музыкантом) в России ещё не обращались.

Учитывая, что это стихотворение находится напротив Егошихинского некрополя, оно действительно «на своём месте». Так что пусть полноценной поэтической картографии, может, и не вышло, зато вышла вполне себе локальная гармония. Стихи, получив дополнительное измерение в виде городского пространства, стали рифмоваться и с ним.

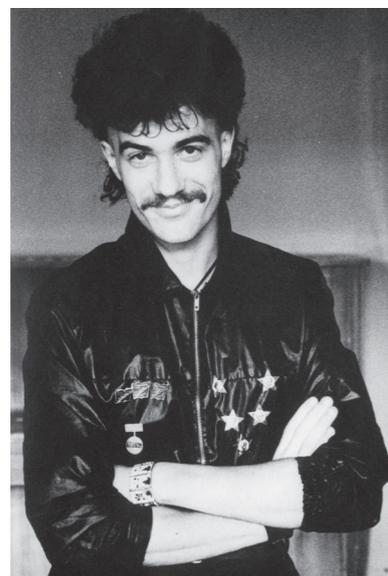


Подписи к фотографиям:

1. Автор проекта: Эдуард Димасов. Стихи: Владимир Маяковский «Эй!». Адрес: ул. Монастырская, 1
2. Автор проекта: Евгений Добровинский. Стихи: Анна Ахматова «Когда б вы знали, из какого сора...» Адрес: ул. Монастырская, 1
3. Автор проекта: Александра Королькова. Стихи: Даниил Хармс «По вторникам над мостовой», Адрес: ул. Мира, 25
4. Автор проекта: Дмитрий Маконин. Стихи: Эрнст Яндль «Два вида жестикуляции». Адрес: ул. Монастырская, 1
5. Автор проекта: Елена Новоселова. Стихи: Иосиф Бродский «Письма к стене». Адрес: ул. Белинского (от Комсомольской площади до площади Карла Маркса)
6. Автор проекта: Олег Мацуев. Стихи: Егор Летов «Я не видел ангела...». Адрес: Северная дамба

Сергей Сигерсон

Опыт построения арт-коммуны на отдельно взятом болоте



Сергей Панин в 1987 г.

В прошлом номере журнала «Вещь» была опубликована статья Сергея Дюкина «Вирус ОДЕКАЛ». Автор предложил собственное видение истории пермской арт-группы «Общество детей капитана Лебядкина» (ОДЕКАЛ) в местном культурном контексте. В ответ на опубликованную статью в адрес журнала пришла статья за подписью Сергея Сигерсона (так сейчас себя называет лидер ОДЕКАЛ Сергей Панин). «Вещь» не могла не обнародовать этот документ, текст которого печатается в авторской редакции.

Постсоветский период на окружающих нас пространствах проходит под знаком широко манифестированного возрождения, на деле чаще всего ограничивающегося реставрацией старых форм в новой исторической обстановке. Касается и культуры в целом, и художественного её спектра в частности. Редки примеры действительного развития, творческого продолжения уже существующих явлений. Под знаком всеобщего центона постмодернизма, ренессанса отечественных традиций, концептуального проекта, возврата к общечеловеческим ценностям, пародийного цитирования – так или иначе идёт дружное пережевывание старых идей, порой противниками на эстетическом фронте по части теории-практики. Что касается тактики, то и тут идёт заимствование сработавших некогда моделей. Произвольных разностильных авторов критики вяжут в букет общего «изма», сочиняя по случаю некоторое количество деклараций-манифестов. Порой этим занимаются сами авторы, объединяясь в «группы», «ордена», «цеха» по кальке 20-х годов 20-го века, наиболее продвинувшегося в этом направлении. Взаимно пьянствующий кружок богемы вдруг объявляется отдельным течением искусства. Происходит постоянная аберрация-девальвация-подмена понятий. На таком фоне особенно интересно приглядеться к людям, кое в чём культивирующим посеянное предшественниками, но – своими методами, на иной почве, с другими удобрениями, выдавая доселе неизвестные всходы. И в практике, и в теории, и в тактике. Остановимся на одном из подобных немногочисленных, к сожалению, явлений – ОДЕКАЛ. До сих пор встречаются попытки создания на одекальской основе самых разных обобщений на территории официальной (общепризнанной) истории искусств. Как минимум три из них – достаточно успешно прижились (несмотря на свою взаимоисключаемость), транслируясь с разной степенью настойчивости да достоверности. Что такое ОДЕКАЛ? Это волшебное слово имеет огромное количество расшифровок, в зависимости от конкретного проекта или направления деятель-

ности. Не будем здесь углубляться, осветим лишь одну сторону бытия ОДЕКАЛа. Как его непосредственный организатор, попробую вкратце, ибо про это можно уже много где почитать, от обзоров самиздата до ВАКовских журналов. Но большинство публикаторов не делают одного, самого важного акцента. «Активность различных неформальных групп... развитие самостоятельных объединений... по интересам... Но с ними что-то происходит, когда неформалы собираются вместе... столько... пустого зубоскальства, ругательств, скепсиса... ощущение омерзения... явная асоциальная направленность, какая-то озлобленность... дух, точнее, душок... на волне демократизации и пена есть, и накипь», — уже в 1988 подводит итог деятельности одекаловцев в статье под грозным заголовком «Зачем они Митьку валяют» газета «Вечерняя Пермь». Но столичная «Литературная газета» 1993 даёт место откровениям американского профессора-слависта «Авангардисты с окраины»: «В Перми есть любопытная группа молодых под названием Общество ДЕтей КАпитана ЛЕбядкина (ОДЕКАЛ). Группа эпатажно, надеемся, провозглашает графоманство стержнем поэтического творчества (может, пародируя Пригова), а стихи вообще неплохи (тоже как у Пригова)». Других имён для сравнения заморскому профессору, видимо, не сообщили. В столичном журнале «Знамя» 1994 уральский доцент-корреспондент с места резюмирует: «Литературная молодёжь в Перми по-прежнему делится на союзную и несоюзную... тусуются... ничуть не унывают и даже резвятся... Самая крутая из несоюзных группировок – ОДЕКАЛ». Проходят годы, моды, люди. «Окрепнув и заявив о себе, ОДЕКАЛ 90-х перешёл на новую стадию существования... успешно запускает вирусы эстетического мышления в народ, заставляя обывателей обращать внимание на свои безобидные художественные шутки», — констатирует журнал «Вещь»-2011 под шапкой «Вирус ОДЕКАЛ». В общем - вечная бестолковая тусовка молодых неформалов. За четверть века отношение прессы не изменилось.

Профессионалы при искусстве трактуют явление по-своему, слегка сместив акцент с поведения на произведения, с имиджа на творчество. Парочка амбициозных уральских филологов-сокурсников затеяла масштабный проект «Пермская поэтосфера», обогатив мир серией книжек КПП («Классики Пермской Поэзии») да фондом «Юртин». Но для масштаба нужны люди, тексты, явления («движуха» на нынешнем слэнге). Иначе кто поверит в существование особой ценной поэтосферы, разнообразие да уникальность которой надо всячески поддерживать (лучше всего материально). Неосторожно поучаствовавшие в зачине забавного поначалу проекта, одекаловцы тут же составили его «пушечное мясо». Несмотря на скандальный разрыв (с заминаемыми в прессе письмами протеста, личными нецензурными диалогами, т.п.) да категорический отказ от дальнейших совместных действий, умелая пиар-кампания продолжается. На обильных именах фестивальных афишах – перевранные эксцентричные псевдонимы-маски одекалонов составляют основную часть. В книжную серию они вносят необходимую массовость, значимость, авангардность. Как и в первую же плошку СУПа (Современная Уральская Поэзия) – утомительной антологии с бесконечными дождями-снегами-водкой (якобы отличительными чертами всей жидковатой уральской поэзии). Печатают там вопреки запрету авторов, с введением презируемых у них «препинаков», произвольным сокращением текста, т.д. В следующие плошки СУПа, всё более наваристые-помпезные уже насильно не кидают, хотя настойчиво приглашают до сих пор. «Пермская поэтосфера» набирает обороты, приобретает необходимое количество более подходящего «пушечного мяса» с нужными цаками в носу. Генералам – медали, фестивали, премии, персональная пенсия да желтые штаны с лампасами. На основе ОДЕКАЛА с чуть другим набором спутников израильско-украинский культурегер А.Кобринский при участии эмигрировавшего одекалона Д.Байдака создаёт сайт «Пермская поэтическая школа» (хотя

среди персонажей одекалоны кубанского да колымского филиалов). У этой школы менее жидкое лицо, чем у «СУПовой», но фестивалей-премий она не удостоена, значит, известна много хуже. Украинские филологи во главе с Г.Бахматовой да Д.Белым, нередко привлекающие ОДЕКАЛ к созданию мобильного музея футуризма, книжек по авангарду, организации литературно-музыкальных вечеров, добиваются того, что пермское управление культуры командует в степи ближнего зарубежья в качестве полномочных представителей восемь смелых небудёновцев-одекалонов. По максимуму задействованных на международном фестивале «Весь авангард в Херсоне-95» как актёры, лекторы, музыканты, перформеры, поэты, художники. Во время фестиваля родилась новая маска – особый художественный стиль «одекализм», в ряду концептуализма, примитивизма, футуризма, проч. Адепты вновь открытого стиля порой не считали даже нужным связаться с «родоначальниками». Какие-то недокурившие растаманы, архаичные символы, панк-эсперантисты, заторможенные буддисты, доморощенные сюрреалисты, жрецы «пастернакипи», гопники-цоеманы – кто только не объявлял себя одекалоном на просторах Украины да Урала! Имея чаще всего весьма смутное представление о происхождении-наполнении термина. Зато по незнанию благодушно предлагают принять в ОДЕКАЛ и самих «отцов-основателей». Появление «Авангардистов с окраины» в «литгазете» вкуче с раскруткой «Пермской поэтосферы» (где основную массу тогда составляли виртуально участвующие вопреки своей воле одекалоны) в 1993 приводит к консолидации екатеринбургской богемы с проектом – в отличие от прочих тогдашних — не только дожившим до сих пор, но и успешно клонировавшемся. Под водительством О.Дозморова да Б.Рыжего возникает Клуб Детей Капитана Лебядкина. С активистами из числа одекаловских сотоварищей, соавторов по стихам, театральным проектам, выставочным объединениям, «картинниковской» росписи лубочных досочек, т.п. Квартирные

посиделки клуба вскоре переходят под сень редакции журнала «Урал» (который печатает стихи-прозу одекалонов, запускает в Интернет неопубликованное, зато теряет раритетный книжный самиздат, оставленный для А.Шабурова). До 1991 у Достоевского героя-террориста не было никаких детей, не могло быть в принципе. Придуманый лично мной абсурдный образ-коллаж стал одной из популярных расшифровок загадочного ОДЕКАЛА, тут же мною сотоварищи неоднократно описан, нарисован, инсценирован, выставляем в музее (есть даже сценарий неснятого фильма, где И.Лебядкину противостоит Ш.Холмс). Ещё тогда при очередной моей попытке переселиться на Неву среди прочих бесед-текстов с питерским первооткрывателем авангардных маргиналий Т.Никольской родился совместный экспромт на распечатке её статей про грузинский Дада: «от футуры многие лета / её придуральским детям / капитана лебядкина рвение / с пожеланием распространения / как изустного словно призма / так и гутенберговского лебядкинизма». Под влиянием заокеанских филологов да екатеринбургских поэтов образ зажил самостоятельно, дав начало целому литературному течению. Стилистически разных группировок-студий (с близкими вариантами названия) под атаманством Ю.Казарина, А.Касимова, А.Санникова, В.Тхоржевской, др., которые нынче воюют меж собой за приоритет, кто из них настоящие «дети Лебядкина». Всем хочется желтых штанов с лампасами. ОДЕКАЛУ несколько раз предлагали регистрацию как общественной организации для получения легального места встреч да средств. Были и отвергнутые варианты студий при библиотеках, редакциях, студклубах, где более опытные товарищи-мэтры могли бы по определённому дню просвещать молодёжь. По этому пути пошли и лебядкинцы Екатеринбург, и наши пермские товарищи: КПП (Клуб Постмодернистов Пастиш), ОЛЖИС (Общество Любителей ЖИвого Слова), ПЕКАРИ (Пермские КАРИкатуристы), т.д. Ещё больше было отвергнуто предложений (от даже весьма близких кругов) под одекаль-

ской вывеской выставляться, выступать на литвечерах, печататься в альманахах-журналах-сборниках. Хотя это нормальная практика художественной жизни, явившая миру не одно быстро сдувшееся объединение. Для нас все такие варианты неприемлемы. В силу того, что ОДЕКАЛ – это не богемная тусовка, не клуб по интересам, не студия при мэтрах, не религиозная секта, не музыкальный ансамбль, не вывеска для выставки, не издательство для печати, не общественное объединение. Точнее, не только это. Всё понемножку (и кое-что другое) присутствует в качестве дополнительного штриха. Но главное одекальское качество – АРТ-КОММУНА. Оно присутствует всегда (то более, то менее явно) и всё определяет с самого начала 80-х, когда несколько колымских школьников из кубанских переселенцев, начитавшись приключенческих исторических романов да книжек серии «Пламенные революционеры», осознали себя партизанами культуры, неуловимыми мстителеми мёртвому искусству, красными дьяволятами художественного авангарда, ничевсёками (Всё в Ничто, Ничто во Всём). Уже первые акции на страницах советской прессы («Магаданский комсомолец») да девичьих альбомов-песенников, книжный самиздат да гаражное музицирование проходят под знаменем анархизма. С 1985 перебирающаяся в Пермь основная часть ничевсёков стоит у истоков «культурной революции», чьи всходы до сих пор не дают покоя «придуральцам» – первые панк-группы, рок-клубы, литературный да музыкальный самиздат, концептуальные выставки, лэнд-арт, стрит-арт, т.п. Даже пресловутые кубичные «красные человечки», в деревянном виде ставшие своеобразной эмблемой новой пермской культуры 2000-х, имеют своих бумажных родителей в рисованных лубках ничевсёков, щедро раздариваемых посетителям квартирных выставок 80-90-х да друзьям во время питерских-украинских гастролей, печатаемых на страницах расходящихся по всей бывшей империи СССР газет (тираж 75 тыс.). Первый же мой материал в пермской прессе назывался «Пиджаки

и панки» (1988). Где бы ни обосновывалось одекальское ядро, вокруг возникала коммуна. С важной приставкой «арт». Очень трудно удерживаться на грани, когда многочисленные гости-жильцы-посетители грозят превратить место активного творчества в обычный «системный флэт», сквот с анархополитическим, панковым или хипповым (реже) оттенком. Так было и в комнатах университетского общежития, и в съёмных «клоповниках», и в собственных квартирках. Особенно показательна в этом отношении пустующая трёхкомнатная «пещера» на городской окраине с подходящим названием Кислотные Дачи (ранее Татарское Болото). Квартира моих так и не приехавших родителей превратилась в СССР (Скит Смиранных Странников Революции) — как знак отказа от политического активизма, ухода в радикальное творчество. Под потолком ярко алеет лозунг: «цель ничево движение всё». Ключ от двери в коммуну был не только у меня, любой из участников мог приехать в любое время дня и (особенно) ночи, не считаясь с моим присутствием-отсутствием. Некоторые друзья жили там годами, иные наезжающие бывали чаще меня. Библиотека да фонотека составлялись сообща, то же относилось к музыкальным инструментам (для записей-концертов-репетиций), картонам-краскам-холстам (для рисования) да скромным пищевым запасам (для поддержания физических оболочек). Каждый приносил что мог. Во времена тотального дефицита свои люди устроились на табачную да ликёро-водочную фабрику. Талоны на получение табака-водки я, забросивший к тому времени излишества, отдавал товарищам. Отъезд на дачные работы чьих-либо родственников становился сигналом для недолгого переселения всей коммуны на новое место. Приезд родственников с огородов или редкие посылки с кубанской родины (куда эмигрировала часть одекалонов) сигнализировал временное улучшение рациона для всех друзей. Каждый мог надеть понравившуюся ему вещь и носить — с согласия хозяина. Порой вещь дарилась тому, кому больше подходила. Откуда-то появля-

лись-исчезали печатные машинки, электробритвы, магнитофоны, диктофоны, прочие чудеса техники. Узнав, к примеру, что у меня именно сегодня день рождения совпал с отсутствием финансов, один друг тут же организовывал небольшой фуршет на квартире отсутствующего третьего, где мы все временно обитали. Скромный праздник плавно перетекал в обилие гостей с ночными походами по центральным улицам. Одно время все работали сторожами да ходили по ночам друг к другу в гости. Не без ущерба для народного достояния да с разными приключениями. Но такая разгульная жизнь лишь внешне подобна обычной тусовке. Ибо не она была главной (как водится у богемы), а то творчество («творь»), что из неё произрастало. Неталантливых в коммуне не было в принципе, ленивые по жизни оказывались настоящими трудоголиками в творчестве, а не творить в ОДЕКАЛе невозможно. И это тоже - общее. По большому счёту — нет свойственных богеме интриг, склок, выяснений «кто круче да главнее». На предложение издать свою книжку я тут же приношу подборку текстов друзей. Выступление одной рок-группы с ничевсёками в составе перерастает в мини-фестиваль разных коллективов. Появление в американском альманахе «Черновик» одного из наших авторов тянет за собой пару других. Моя бессрочная «вписка» у гениального Б.Понизовского в легендарном питерском сквоте на Пушкина, 10 приводит туда же других одекалонов. Типичные примеры. Хотя эмоциональные моменты личных столкновений, разумеется, случаются. Особенно после ослабления связи человека с остальными товарищами. Но любое удачное словцо входит в общий лексикон, забавный образ из стиха одного автора может тут же подкрепиться рисовальным вариантом у другого, общие герои кочуют по книжкам разных творцов. Чья-то песня свободно коллажирует твои куплеты с чужими (но не чуждыми). Имеется некий слэнг, по которому опознаются даже бывшие одекаловцы. В прекрасных стихах друзей вполне уместно живут мои подаренные строки да образы. Целые текс-

ты дарятся друг другу, ими сознательно обмениваются (и присваивают-принимают дар), интересно оформленные книжки или картины выпускают от имени друга. В какой-то период часть ничевсёков вообще отказалась от авторства как принципа даже номинальной маркировки. Кроме радости освобождения да спонтанного творческого взрыва сей период знаменуется самыми большими потерями. Единственные рукописи немаленьких густо-метафорических романов дарились первым же подошедшим на творческом вечере зрителям, оригинальные картины да книжки раздаривались на улицах прохожим, тщательно отделанные арт-объекты отправлялись в жерло Ырло (Ничево) — торжественно сжигались, или измельчались, или бросались в подземные люки. В более окултуренном виде ничевоческая практика процветает донныне в виде «неожиданного искусства», когда зритель-читатель сталкивается с ним в не предполагаемом для того месте. Чуть не погребшая дом под своим объёмом воплощённая одекалонами борхесовская идея — реальная «Книга песчинок» уже много лет расплзается по миру, отдельными листами с нашими стихами возникая всюду, куда дотянется рука ничевсёка (либо руки друзей). Эти листки-песчинки вдруг высыпаются к вам из купленной новой или взятой в библиотеке старой книги, встречаются в уютных галереях, шумных музеях, тенистых парках. Будят фантазию, заставляют отвлечься от суеты быта, размять застоявшийся ум или залежавшееся чувство юмора. Аукаются движением «стих в карман» среди продвинутой молодёжи. Много в арт-коммуне практикуется собственно совместного творчества во всех видах, жанрах, родах. От спонтанного музицирования до автоматического письма текстов в духе «изысканного трупа» сюрреалистов. От затяжных прогулок по городским задворкам со странными объектами психогеографии до больших настенных полотен, цельно живописанных полудюжиной разностилевых художников. Разность стиля существенна. При обильном пародировании друг друга, имитации стиля,

«игры в другого», каждый одекалон — отдельный автор со своим миром, особенностями, привязанностями, привычками, источниками. К примеру, Е.Гвинеева вдохновляет старая японская проза да сибирские блюзы, Э.Кощеева — трактаты постструктуралистов да гангстерские фильмы, К.Нокдауна — парижский декаданс да русские религиозные почвенники, Е.Сиреневу — барселонский модерн да узбекская «новая волна» кино, А.Хобо — рэггей да чукотские сказки, Д.М.Шурфа — советская фантастика да симфо-фьюжн. Мне ничего из этого не близко, зато среди моих любимцев те, кто не читается более никем из одекалонов — ранние произведения А.Гайдара, Д.Свифта, Л.Стерна. Разумеется, есть и вещи, интересные всем нам — леваки любых эпох, Дада, джаз, панк, детские книжки да мультфильмы, юмор, в конце концов. Я назвал тут лишь нынешних творцов ничевсёчества. Хотя и те, чей творческий пыл поиссак на жизненных путях, и те, кто теперь занимается более традиционным творчеством, не могут полностью освободиться от одекальского вируса. Даже если порою старательно отрещиваются от своего боевого прошлого, такого несерьёзного. Попытки включения в процесс творцов из близких групп (днепропетровского «Я и друг мой грузовик», екатеринбургского ОМУТа, вятско-пермского «Пастиша», пермско-московских руркаманов, т.п.) не даёт эффекта коммуны. Хотя, например, пастишевцы и сейчас могут позвонить ближе к полуночи с предложением своего срочного визита. Раньше они просто проводили без предупреждения в арт-коммуне свои спонтанные заседания у самовара. Но, кроме тактического или стилистического единства на каком-то этапе да недолгой дружбы, людей в подобных группах ничего не объединяет. Конечно, не все из трёх с лишним десятков ничевсёков, прошедших через ОДЕКАЛ, были в равной степени близки. Иные плодovitые интересные авторы на личном уровне почти не задействованы в жизни товарищей. Иные из самого ядра коммуны не особо проявились как авторы, а после ухода в личную жизнь и вообще отош-

ли от творчества. Зато существует даже некоторая семейственность. С.Дадаграф, Д.Дельфина, Т.Ивня, О.Маюн, Е.Сиренева, А.Хобо, Я.Чар – великолепная семёрка из основного актёрского состава этого истерна носят фамилию Паниных, а многочисленная родня (даже вполне солидная) морально поддерживает да порою участвует в несолидных диких акциях на территории современного искусства. Те, кто появился в наших рядах в детсадовском возрасте, уже нянчит своих детей. Вообще, создание семей да потомков заметно снизили активность обще-

ния внутри сообщества ничевсёков, бытовые проблемы стали сильнее отвлекать в сторону, что совпало с потерей основного «логова», штаб-квартиры на Татарском болоте. Всё меньше явных признаков собственно коммуны, на передний план выходит либо совместное творчество, либо дружелюбие. Да и революционно-творческие брожения в обществе хотя бы на уровне середины 80-х (не говоря уж про 20-е или 60-е) пока не заметны. Но опыт создания арт-коммуны на отдельно взятом болоте смело можно считать удачным. И очень своевременным.

список литературы:

- Абашев В. «Из Юрятина пишут» // «Знамя», 1994, № 9.
 Гладышев В. «Зачем они Митьку валяют» // «Вечерняя Пермь», 1988, 10 августа.
 Дадаграф С. «В людях мои университеты (заметки по памяти)» // «Вестник Пермского университета», 2011, № 3 (17),
 (эл. вариант <http://www.histvestnik.psu.ru/PDF/20113/22.pdf>).
 Дадаграф С. «Красные человечки — из Перми»,
 (эл. вариант pietrovsky-book.livejournal.com/74039.html).
 Дельфинова Д. «Стихи и проза», «Урал», 2001, № 2.
 (эл. вариант <http://magazines.russ.ru/ural/2001/2/delf.html>).
 Дюкин С. «Вирус ОДЕКАЛ» // «Вещь», 2011, № 4,
 (эл. вариант http://www.teterin.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=633).
 Кобринский А. «Пермская поэтическая школа»
 (эл. вариант <http://amkob113.narod.ru/parma>).
 Панин С. «Лиджаки и панки» // «Молодая Гвардия», 1988, 25 сентября.
 Янечек Д. «Авангардисты с окраины» // «Литературная газета», 1993, 24 февраля.

Критика / О книге Аркадия Застыльца «Онейрокритикон»

Способы хранения сновидений



Круглая кружевная салфеточка на самом верхнем сундучке
 (не слишком необходимая, но слишком
 желаемая объяснительная записка)

У бабушки в кладовке стоял (да как стоял? — и сейчас стоит) сундук. Большой и зеленый, как игрушечный крокодил. Тот самый, который бродил у Чуковского по улицам. Впрочем, я, как обычно, отвлекаюсь от важных вещей на всякие привычные милые глупости. Так вот. Сундук. Когда-то их было много, целая горка — этакая обязательная деревенская горка до-революционных сундуков (так и хочется сказать — для приданого, уж больно романтично звучит). Но время умудряется растерять и сокрушить все, даже несокрушаемые деревенские основы в виде сундучного се мейного счастья, передаваемого по наследству. Так что к тому моменту, как я начинаю хоть что-то вспоминать, сундуков оставалось у нас почти ничего. Тот самый, из кладовки, был (повторюсь) большим и зеленым. Обитый железными полосками так, чтобы выходил рисунок «в клеточку». Основательный такой сундук. Что в нем лежит — до сих пор для меня загадка. Во втором таком же (только очень поменьше) сундуке дедушка хранил разные домашние инструменты. Видимо, именно из-за этого второго сундука до сих пор обычные молотки, стамески, отвертки, плоскогубцы и гвозди кажутся мне

очень, очень таинственными. Поэтому, обзаведясь своей жилплощадью, я тут же завела себе специальный ящик, набитый подобными железками, многие из которых, каюсь, до сих пор для меня остаются почти тайной. И, естественно, за это они мне нравятся еще больше. Вот только сундука у меня нет. Вывод? Вывод: время ломает все вещи, кроме — кроме памяти (Высокопарно? Ага, высокопарно, однако — факт).

Сундук № 1

Дело было в году 1998. Или в 1999. По-моему, именно в нем. Хотя не факт. Писать я не умела, зато хотела, поэтому покорно читала все, чем меня отечески снабжал Евгений Владимирович Туренко. На мое несчастье (или счастье, с какой стороны посмотреть), он подметил во мне сверхромантическую жилку и излишне филологические склонности. Боюсь, подметил с негодованием. Поэтому однажды у меня в руках оказались две книги Аркадия Застырца: «Deus ex machina» и «Гамлет». Для того, видимо, чтобы я их прочла и выбросила на помойку все свои девичьи надежды на писание всякой романтической дребедени о том, как приходит весна с белыми цветочками в светлых, ах, кудряшках, вся такая хрупкая, аки фарфоровая статуэтка, причем настолько хрупкая, что веткой яблоневого цвета, которую она держит в руках, эту ж весну бедную пришибить и можно. Потому что у меня все равно выходит дребедень, а вот люди... а вот люди-то ж пишут!

Сундук № 2

И — да, я прочла! И стонала жаркими летними ночами в горячую подушку. Стонала, как один небезызвестный персонаж Ильфа и Петрова. Только он мычал: «Живут же люди!» А я выписывала, Ниной Заречной закусывая дрожащие костяшки пальцев: «Пишут же люди!». С восхищением. И с завистью (ибо ничто человеческое мне никогда не было чуждо). Кроме двух первых вышеуказанных книг, у Туренко был вымолен, заказан и обретен «Я просто Пушкин». Потом (хоть убейте, не помню откуда), у меня появились «Пентаграммы» и «Волшебник, отшельник и шут». А перед мистическим возникновением из ниоткуда «Пентаграмм» был явлен мне из нижнетагильской литературной студии «Ступени» и сам Аркадий Валерьевич Застырец. Впечатления могу передать только одной детской фразой: «Он был настоящий!» Я тихо сидела в уголку, смотрела на кумира преданно и обожающе, вела себя настолько прилично, что даже ни разу не чирикнула от восторга. Только сурово (от стеснительности) подписала у Застырца аж все имеющиеся у меня его книжки. Храню, до сих пор храню.

Сундук № 3

Способы хранения:

Прижав к грудному теплу, пока вокруг весна и отключено отопление, и небо обвисает, как старый мамин демисезонный плащ в огороде, на холодном втором этаже, в самом темном углу, под трогательным фанерным потолком, выкрашенным в нежно-небесную краску.

В самом далеком ящичке, между круглой курительной трубкой ярко-вишневого цвета и псевдокостяным ножом для разрезания бумаги, двумя кожаными старыми кошельками, пахнущими желтой жесткой кожей, под коробкой с хрустальными бусами и ожерельем из мелких гипсовых розочек.

Гордо — на полке, зажав между Москвой и Челябинском так, что кошка, потягиваясь, иногда когтем зацепляет высунувшийся любопытный уголок.

С удовольствием — в сумке, почитывая по дороге на работу и обратно.

И много других способов хранения, не менее чудесных, чем те, о которых я когда-то прочла.

Сундук № 4

Чудес вообще очень много. Одним из таковых оказалась книга Аркадия Застырца «Онейрокритикон». Потому что я не знаю, откуда она у меня. Просто не знаю, и все тут. Просто однажды нашлась на полке, среди еще не прочитанных. Так что теперь я знаю, что такое книга — это неожиданно овеществленное желание ПРОЧЕСТЬ. Сбывшийся сон, так сказать. И название это подтверждает, как ни крути: «Онейрокритикон» — это сонник, толкователь сновидений (как человек честный, признаюсь, что выудила сие определение не на многомудрых интернет-просторах, а во вступительной статье Вадима Месяца к самому сборнику).

Стихи Аркадия Застырца — это вообще, по-моему, кораблик фантазии, обгоняющий кораблик воспоминаний. Обгоняющий всегда — чуть, но — не совсем. Почему кораблик? А все оттуда же, со дна того самого заветного сундука, где хранится не только кораблики — стеклянные кораблики слов, а еще и: зеленая пробка от старого графина, пачка фантиков, железный солдатик в зеленом мундире и облупленном кивере, с погнутой крошечным штыком, открытки с женщинами в париках и заснеженными горами, яркий бумажный японский зонтик и пожелтевший гербарий, лунный камень, оправленный в серебро и вообще.

*Уложен груз в ларцы с обивкой голубой —
В прохладной глубине заполненного склада.
(«Колыбельная для принца»)*

Должна признаться, «Колыбельная для принца» сразу и навек оказалась моим любимым текстом у Застырца, хотя не буду скрывать, что на момент знакомства с этим стихотворением я не имела ни малейшего представления, кто такой Сергей Курехин, зато, к примеру, была утонченно начитана в области средневековой китайской поэзии. Уже хотя бы поэтому моим любимым стихотворением должно было оказаться это (в «Онейрокритиконе» его нет, однако в данном случае отступление от темы есть не женская слабость, но суровая поэтическая необходимость):

*Легла на волосы роса,
И платье лёгкое намокло.
Четыре года — в миске свёкла
И за стеною голоса.
(«Легла на волосы роса»)*

Однако нет. Ибо меня, не слишком на тот момент искушенную в жизни и домашнем хозяйстве, ужасно смущала обыденная свекла. Только лет через пять я (с книжкой в одной руке и с простецким бутербродом с сыром-маслом к чаю «Гринфилд» — на правах рекламы — в другой) вдруг осознала, что — да, ведь да, там должна быть именно свекла, и ничего больше, никакие там не персики, вишни, не засахаренные лепестки роз и даже не рис с курицей, тушенной в соусе «терияки», а — именно вареная свекла, и никак иначе. Но любовь

к «Колыбельной» так и осталась неизменна и непоколебима, поскольку она для меня была и есть тем самым нафталином, который для Франсуа бог и еще ветер.

А вообще: поэзия еды часто меня приводила к еде поэзии. Обыденное и высокое, слава богу, гораздо чаще перемигиваются друг с другом, чем того можно бы ожидать.

Под названием «Онейрокритикон» чуть помельче написано — «стихи разных лет». В некотором смысле (в «некотором» — только потому, что мне остается только предполагать, а не полагать), этот сборник для поэта является программным. Потому что — чудо, опять чудо! — в нем нашлись практически все мои самые любимые стихи. Поэтому, каюсь, просто хочется писать, как восторженная институтка, а не многоумро проводить литературоведческий анализ:

*И только сон ведёт по солнцепёку,
Смывая время тёплым молоком,
На палубу к остывшему востоку,
Под паруса с малиновым флажком,
Где талый свет за лучшими вещами
Не различает точек на оси
И ангелы под мокрыми плащами
Крылами шелестят... Ещё спроси...*
(«На выдумки тоска неистоцима»)

*И шевельнулся, тронув небо,
Сирени сладкий нафталин.*
(«Стрижи снесли крылами гром»)

*Подглядывать мы любим, спору нет.
Он просто отодвинул занавеску,
Как только вышла девушка на свет,
Вручив прическу солнечному блеску.*

*Прозрачный звон оконного стекла,
Ее отобразив, тебя и не заметил.
Она глотает слезы — ты заметил?
Не выбраться из этого узла.*
(«Знаменитый Вермеер»)

Чем подкупают сновидения — так это абсурдностью. Причем не простой, а крайне логичной. Абсурдностью, которая в переводе на язык бодрствующего звучит как «ирония». Ироничность Аркадия Застырца тепла и проста (на первый взгляд самые хитрые вещи всегда кажутся такими крайне простыми), чуть сладка, чуть горьковата, как варенье из жимолости:

*Овал лица со временем темнел,
И очевидным сделался предел,
Который положила благу скверна,*

*Как только удалось мне ухватить
Одну деталь: Юдифь должна родить,
Причем родить, конечно, Олоферна.*
(«Знаменитый Джорджоне»)

И мир его весь — горьковатый сон и сладкая память, дорога среди льдов и теплый дом после долгой дороги:

*Там шагаются нам широко,
Там надкушена белая булка...
Нам идти еще так далеко —
До полуночи, до переулка.
(Мы с тобой задремали в пути»)*

*Стоит распасться домам
В мокрую снежную крошку,
В сумерки хлипкие нам
Кажется: все понарошку.*
(Стоит распасться домам»)

*Сорочьим следом утра свет просрочен,
А стало быть — продлен счастливый срок,
И в печке дышит, сбоку разворочен
Горячею смородиной, пирог.*
(«За тихой занавеской на печи»)

Сундук № 5

Когда-то, очень-очень давно, я приходила домой из школы, наливала себе большую КРУЖКУ варенья, залезала на стол с ногами (пока дома никого нет и никто не видит) и ела его большой ложкой, глядя в окно, где зима и белая белизна (именно так — масло масляное), и никого, и тихо. И что-то придумывала. Ведь дети всегда что-нибудь придумывают. Потом наливала вторую кружку и снова ела. Не потому, что в детстве все любят сладкое, а потому, что было вкусно. И это было хорошо и правильно. Как ни смешно это звучит, но поедание этого пресловутого варенья (обычно малинового, но и клубничного, а, да-да, жимолостного, его самого, горько-сладкого, в которое так приятно обмакнуть большой кусок свежего батона, и объедать со всех сторон этот кусок понемножку, как кролик — кочан капусты) было чистым наслаждением. Может быть, особенно потому, что иногда кажется, что мне это приснилось, ведь «на выдумки тоска неистоцима по заводи, по выходу за край».

...Ох, разлившись соловьем про детское счастье, я, как обычно, отвлеклась. А ведь хотела логично вывести из факта чистого наслаждения факт того, что «Онейрокритикон» — явно то же самое варенье. То есть что, читая эту книгу, я испытывала те же самые ощущения, хоть и не сидела с ногами на столе, а за окном не было той самой полузабытой зимы.

Но так получилось даже лучше, ведь, когда, думая про стихи, ты вспоминаешь детство и то, что ты что-то выдумывал, это — хорошие стихи. Настоящие.

«А стало быть — продлен счастливый срок». И хочется еще читать. И варенья.

Аркадий Застырец. Онейрокритикон. М.: Русский Гулливер/Центр современной литературы, 2010.

Антропология парка

Анатолий Королев. *Genius loci: Повесть о парке*. М.: РА Арсис-Дизайн (ArsisBooks), 2011



Анатолий Королев написал повесть о парке в 1990 году. Тогда она была опубликована в журнале «Нева», что не удивительно — она посвящена парку Аннибала, расположенному в пригороде Петербурга. Устарела ли повесть, прежде всего, для самого автора?

Судя по интервью, данному Королевым критику Дмитрию Бавильскому, нисколько. Автор повести остался тот же — эстет, ценитель прекрасного. Вот как он описывает причины своего отъезда из Перми: «... для художника пространство Перми крайне бесформенное, тусклое, непроявленное: шпалы, земля, доски, огороды, котлы с горячим гидроном, помойки, крашенные белой известью, трамвайные рельсы, простыни на верёвках, козы

(...), потом хрущёвские новостройки, шлак, трубы заводов, лужи, поленицы дров — всё это не рождало чувства прекрасного, глаз был скуден и лишён творческого молока. Как творить прекрасное, если его так трудно добыть?».

Для Королева такой символической шахтой стала Пермь, а полотном — остальной мир, где, как он предполагает, творится история — прекрасные фрагменты которого и дают краски его произведениям.

Непроявленность Перми в сожалениях писателя противопоставлена, по его представлениям, красоте Аннибалова парка, несколько столетий взращиваемого разными заботливыми руками: «Невозможно поверить, что эта арапская непроглядность таит в себе столько сияющих панорам, видов, аллей, силуэтов, куп и куртин».

Эссе как форма размышления открыта — оно явно показывает повороты, подъёмы и спуски авторской мысли и дает возможности кое-где вкраплениям других жанров — от политической публицистики до любовного романа. Кусок земли, взятый на перо для исследования,

оказывается исхожен вдоль и поперек. Но, как и в археологии, в литературе при наличии артефактов дело в итоге оказывается в интерпретации.

Попытка Королева и конкретна, и абстрактна. «Рисунки на полях», частично отсылающие к Пушкину, показывают этапы его работы, как и разбивка книги на главы: от «Зеленого словаря» через «Поправку к Витрувию» к «Наступлению галлицизмов», разворот назад — «Капитанская внучка», «Вид на идеал», «Восход звезд» — и новые ноты в «Фаусте и Фениксе» и «Красавице и чудовище». Гибелью парка грозит последняя, ненаписанная глава — «Тяжкая манна». Над парком нависает «паршивый заводик». Конкретность происходящего за три века с квадратом, от которого «отступила природа», теперь возложена на плечи людей. Но что они делают с этим отданной им на откуп частью земной поверхности — во что ее превращают — вот вопрос, волнующий автора.

Исследование поверхности истории и географии становится и экскурсом

в сторону развития русского языка и «русскости» вообще. К чему же приводит писателя это путешествие? В его описании цветов, растений и деревьев в парке не встретишь звучного латинского именования, а подробные освещения английских и французских образцов паркового искусства делаются лишь для того, чтобы снова, с облегчением, вернуться к поискам своего образчика. Так парк, лишенный время от времени влияния моды, отряхивает с себя внешнюю позолоту, начинает стремиться обратно — в лес.

Так и мысль автора, оттачиваясь от корней, совершает перелет в царство недостижимого рукотворного, чтобы потом симпатиями вновь вернуться к корням. Коли не волновали бы автора давние вопросы о месте России, не всплывали бы на страницах его книги имена Чаадаева, Пушкина, не шла бы иронически речь о «присоединении к европейскому словотворчеству». Впрочем, длительные упражнения в наблюдении за изменениями природы дают внимательному глазу автора другой

навык — различать колебания государственной формы. В отношении событий более отдаленного прошлого сделать это не в пример легче: «пружина Павловского гнева продолжала дырявить отечественный обломовский диван».

С XX веком обращение сложнее — а ведь именно его предстоит осмысливать, обзывать, именовать современнику. Последний герой повествования, впрочем, в изображении писателя, не сдвигается с точки XVIII века — Аванград Молокоедов, секретарь районного отделения ВООПИИк (Все-российского общества охраны памятников истории и культуры) — тот же авантюрист, изобретающий пути достижения целей на мифической основе. Для получения средств на восстановление паркового комплекса он придумывает легенду о посещении Пушкиным этого места. Карьеристка-пушкинистка, разоблачая исполненный благого порыва замысел, совершает в парке последний «дворцовый переворот» — и, возможно, ставит точку в этой истории.

Месту отдохновения и вложенным в него идеалам приходит конец. Не находился ли Аннибалов парк все эти три столетия в провинции реальной истории? Если поменять местами координаты места и времени, то не было ли время его удаленным от центра? Впрочем, портрет парка в книге двоится, а то и троится, и сам автор говорит об этом. «Перунова роща» — раз, идеальный «Эдемский сад» с тайным источником, показавшийся Авангарду лишь на считанные минуты, — два, парадный портрет парка на стене архитектурных достижений — три. Возможно, для улавливания в сети языка этого феномена понадобятся другие инструменты. Вполне вероятно, что пласты времен продолжают невидимо существовать в парке, не смешиваясь друг с другом. От момента к моменту одно проявляется, другое уходит в тень.

Есть ли там иные выжившие, кроме Периклесова дуба и его антропоморфного близнеца Пушкина?

Ольга Роленгоф

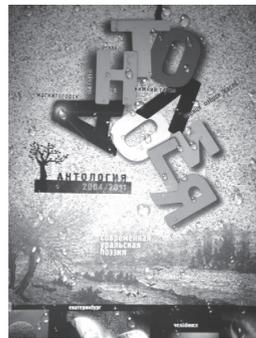
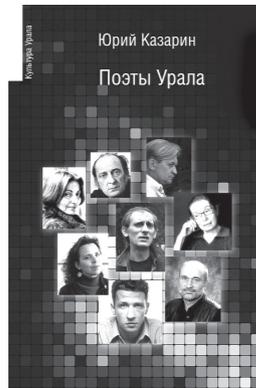
Онтология поэзии Урала

Казарин Ю.В. *Поэты Урала*. / Ю.В. Казарин. — Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2011. *Антология. Современная уральская поэзия. 2004 – 2011 гг.* сост. В.О. Кальпиди. - Челябинск: Издательская группа «Десять тысяч слов», 2011.

Выход в свет третьего тома антологии «Современная уральская поэзия. 2004-2011 гг.»,

составленной Виталием Кальпиди, и книги Юрия Казарина «Поэты Урала» стали самыми

яркими и значимыми событиями литературной жизни на Урале в 2011 году.



Обе книги, поскольку в них зафиксирован современный литературный процесс, во многом переключаются между собой (в частности, именами поэтов-участников), однако нельзя не отметить в антологиях и целый ряд принципиальных особенностей, высвечивающих разные грани уральской поэзии, помогающих решить разные задачи.

Третий том антологии современной уральской поэзии представляет собой сколок с наличной литературной действительности. Принцип отбора авторов, вошедших в данное издание, подразумевает под собой фиксацию имен поэтов, проживающих в данное время на территории Урала, чьи стихи созда-

ны в течение последних нескольких лет. Таким образом, антология знакомит читателей практически со всеми современными уральскими поэтами, предоставляя возможность составить картину литературной жизни родного края и найти среди многих голосов тот, который будет звучать в унисон с мелодией души читателя.

Кроме ныне живущих на Урале авторов, в перечень персоналий третьего тома антологии включены и имена поэтов, покинувших навсегда Урал. Среди них выделяются основатель нижнетагильской поэтической школы Евгений Туренко, ныне живущий в Вене, Олег Дозморов, перебравшийся в Лондон, звонко звучит из-за океана голос Елены Сунцовой, эмигрировавшей в Нью-Йорк; включены стихотворения Васецкого, Черкасова, Пермьякова, Карениной и Ерёмкина. Несмотря на то, что эти люди сменили место жительства, их творческой, поэтической родины и донине остается Урал, а они всегда будут считаться одними из лучших уральских поэтов. Публикация стихов вышеперечисленных авторов — не только жест прощания с ними, как указано в предисловии, но и обозначение поэтических вершин, на которые следует ориентироваться совсем юным поэтам.

Вместе с тем, антология формирует представление о «герметичности», самодостаточности уральской поэзии. Этому способству-

ют и обилие стихотворных посвящений своим же поэтам-уральцам, и устойчивые сквозные мотивы, переходящие от одного автора к другому, и интертекстуальные переключки. Все стихи, вошедшие в антологию, образуют единое замкнутое поэтическое пространство, в котором каждый поэт — исключительно важен и незаменим, поскольку благодаря ему и его творчеству «восполняются» произведения других поэтов. Антология современной уральской поэзии очень напоминает зафиксированный на бумаге непрерывный творческий полилог всех уральских авторов. Впрочем, нередки и отсылки к зарубежной литературе. В результате возникает образ такого поэтического пространства, которое, будучи прочно укоренено на родной земле, фокусирует важнейшие достижения мировой культуры.

Третий том антологии современной уральской поэзии демонстрирует как индивидуальность каждого поэта, так и его неотделимость от других авторов, иначе говоря, данное издание отражает групповую творческую солидарность всех уральских поэтов, именно поэтому составитель антологии располагает произведения 75 поэтов в алфавитном порядке, избегая выстраивания разного рода иерархических отношений между поэтами. Также имеются две критические статьи об авторах, отказавшихся от публикации

стихотворений, но вычеркнуть творчество которых из современного литературного процесса невозможно.

Книга Юрия Казарина «Поэты Урала» содержит в себе 57 очерков об уральских поэтах. В отличие от антологии современной уральской поэзии, где львиная доля стихов принадлежит совсем молодым авторам, Казарин выбирает именно лучших поэтов, как, например, Борис Рыжий.

Иной здесь и принцип отбора стихов. В антологию вошли поэты, проживавшие и проживающие на территории Свердловской области. Это ограничение связано с тем, что составитель книги ставил перед собой задачу не только собрать в одном издании стихи уральских авторов, но и дать о каждом из них библио-биографическую справку.

Книга «Поэты Урала» по структуре напоминает научное издание: присутствует прочная теоретическая база, иллюстрированная знаковыми стихотворениями уральских поэтов, приведен обширный библиографический список, демонстрирующий высокую степень изученности уральской поэзии и пристальное внимание Казарина к литературному процессу на Урале. Кроме того,

книгу «Поэты Урала» можно рассматривать как учебное пособие, адресованное студентам и школьникам.

Книга состоит из пяти глав, в каждой из которых автор высвечивает разные грани уральской поэзии: первая глава повествует о творчестве самых ярких современных поэтов (Е. Туренко, В. Чепелев, И. Сахновский, А. Расторгуев и др.). Три главы посвящены творчеству поэтов, ставших учителями и наставниками многих ныне живущих уральских авторов: Майе Никулиной, Алексею Решетову, Борису Рыжему. Эта тройка авторов, если можно так выразиться, и составляет золотой фонд уральской поэзии XX–XXI вв.

Отдельно Юрий Казарин анализирует поэтику своих близких друзей: Е. Извариной, А. Застырца, В. Дулепова, Н. Семенова.

Глава о самом Казарине написана его коллегой, профессором Т. А. Снигиревой. В этом разделе Снигирева анализирует эволюцию поэтической системы Казарина, архитектуру каждой лирической книги, выявляет основные концептосферы поэзии.

Книга «Поэты Урала» — нечто большее, чем только фотография современной

уральской поэзии, это скорее ее портрет, написанный бережно и любовно. В своей книге Казарин отдает дань памяти тем поэтам, которых уже нет, выражает свое уважение и признание тем людям, кто с рядом с ним.

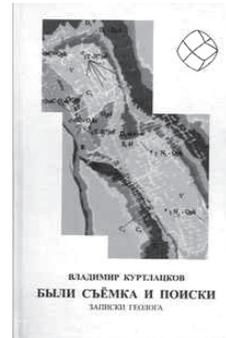
Если в третьем томе антологии современной уральской поэзии акценты расставлены более завуалированно и тонко, то в книге «Поэты Урала» Казарин открыто расставляет свои эстетические приоритеты, выделяя одних авторов и умалчивая о творчестве других поэтов. И в этом есть своя прелесть: читая книгу «Поэты Урала», открываешь не только поэзию тех авторов, о которых в книге идет речь, но и личность самого Казарина.

И третий том антологии современной уральской поэзии, и книга «Поэты Урала» показывают, что уральская поэзия — сложившийся культурный феномен, заслуживающий внимательного и скрупулезного анализа. Обе книги являют собой неограниченный вклад в изучение современной уральской литературы, собранный с любовью и глубоким знанием материала.

Ольга Ловцова

Продратся к чистой правде

Владимир Куртлацков. *Были съёмка и поиски. Пермь: ИПК «Звезда», 2011*



Владимир Куртлацков — профессиональный геолог, полевик, бывалый человек. Геологи ведут «полевые книжки»: справа текст, обязательно карандашом — убережь золотые слова от непогоды, слева рисунок — обнажение с привязкой на местности канав, шурфов, обнажений, откуда взят «каменный материал» — образцы породы.

Я уверен, что в полевых дневниках Куртлацкова много записей, и не очень относящихся к профессии — он человек с цепким зрением, понимающий толк в деталях, «мелочах жизни». Совершенно неизбежно он, участник событий, человек переднего края, должен был придти в литературу, и это произошло. Его маршрут близок к тропам Арсеньева, Федосеева, Куваева.

Он ворвался в ряды пермских писателей с тремя повествованиями: «Там было ближе к звездам», «Накануне исхода», «Мар-

шрутом в непридуманную сказку». Они вошли в солидный том «Памир — пристанище избранных», который вышел в 2008 году в Перми. В этот том включены также произведения друзей Владимира — Анатолия Димарова и Владимира Фоменко. В итоге получилась документальная и в силу этого монументальная эпопея о трагической судьбе современного Таджикистана и россиян, там живших и работавших.

Книга «Были съёмка и поиски» посвящена драматической истории поисков алмазов на Среднем Урале. И здесь Владимир — в самой гуще событий. Очевиден рост его литературного мастерства, поубавилось красотой. Чувствуется, как много ему дало сотрудничество с таким замечательным редактором, как Надежда Гашева.

Книга напоминает мне геологическое обнажение — местами видны коренные породы, местами они задернованы, закрыты осыпями. Задача — продратся к чистой правде — как на самом деле устроены земные слои. Без этого ведь ничего не найдешь.

Мне не понравилось корявое название, и я сказал об этом Володе. Он яростно защищал его. Теперь я вижу, что он, скорее всего,

прав. Название — стилевое, оно отвечает содержанию книги, так же как и кусок геологической карты Урала на обложке — немного смазанный, но по цветовой легенде многое прочитывается. В конце концов, после прочтения книги (а читается она безотрывно) понимаешь: для Куртлацкова важно единство стиля. С чем не могу согласиться — геологизмы, необъясненные термины.

Интернет, который предлагает читателю Владимир, не поможет. Иной раз и для специалистов текст становится напряженной тренировкой мозгов. В свое время мне пришлось столкнуться с этой проблемой, и я помню радость, когда вдруг понимаешь, что читателю становится ясно, о чем речь. Тогда доходит, что не только физика, но и геология — «драма, драма идей». Другой путь: Олег Куваев послал тексту «Территории» собрание сведений о золоте — «Извлечения». (В свое время Мелвилл в «Моби Дике» — любимой книге российских бродяг собрал «Извлечения» о китах).

Черта прозы Куртлацкова — насыщенность тем, что называется *genius loci*. Передать его особенно трудно, потому что местность эта мало населена. Но о «бабе Симе», она же Серафима

Пантелеевна Собянина, память остается не только у тех, кто встречался с ней!

Книга посвящена — «Реке Вишере и пермской «Геокарте». Это — очень горькое посвящение. Куртлацков нашел точные слова, чтобы рассказать о трагедии людей, которые занима-

лись — обратимся к названию книги — «съемкой и поисками» на пермской земле.

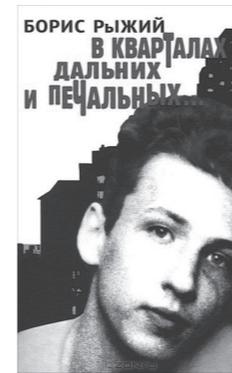
Читатели ждут новых работ Куртлацкова, которые, как мне известно, у него на подходе. Место действия — Танзания, Западная Сибирь, Колыма. Надеюсь, что со временем Володя

Куртлацков выйдет на тропу Олега Куваева, где ему понадобятся не только полевые книжки. Тогда кристалл таланта Владимира заиграет новыми гранями, неизвестными ни его читателям, ни ему самому.

Семен Вакман

Плоды просвещения

Борис Рыжий. *В кварталах дальних и печальных. М.: Искусство-XXI век, 2012.*



Книгу приятно брать в руки. Стихи вписаны в белое пространство страниц и не теснят его, и не теснимы им. Здесь есть воздух и есть слова — поэта, а не любые. На обложке — лицо Бориса Рыжего, болезненное (не отмахнуться от биографии), глядит прямо на читателя. Глядит *оттуда*: с той стороны забора, с той стороны неба — с той стороны, словом... Почему издательство, обладая огромным художническим потенциалом, вновь избирает портрет? Вот этот взгляд, горький?

Название — ожидаемое, предсказуемое. Определено ли всё творчество Рыжего, помещённое в увесистый том, «печальными и дальними кварталами»? Отнюдь. В стихотворении «Начинается снег. И навстречу движению снега...» можно найти едва ли не прямое указание, что стоит говорить о Рыжем «после смерти» (обычная усмешка поэта, ирония сквозь печаль?), и — замечательная строка: «Я прошёл по касательной, но не вразрез с небесами, / в этой точке касания — песни и слёзы мои» (курсив мой — М.Ш.). Чем не название?

Во вступительной статье Дмитрий Сухарев, рассуждая о названии к первому посмертному сборнику Рыжего — «На холодном ветру», говорит, что оно «вызывает сожаление». «В кварталах дальних и печальных» у меня вызывает даже не сожаление, а досаду.

Первое, что я делаю, открывая любую книгу, — читаю аннотацию. Здесь обозначено: «... А между тем он — Поэт вне рамок и времени...» — и ниже: «Строки его стихотворений разошлись по блогам и ЖЖ». (Разве это не тождественные вещи, чтобы их разделять?) Но Борис Рыжий всё-таки поэтическая личность — гораздо большего масштаба, чем Вера Полозкова (вот уж чьи строки действительно разошлись по блогам). И мне становится горько и неловко — за авторов сего пассажа. Дальше: «Предлагаемый сборник адресован любителям и ценителям современной поэзии». Почему современной? Почему Рыжего ставят в конкретные рамки (и после сказанного «вне рамок и времени»)?

Снова я задаюсь этим вопросом, когда вижу хронологический порядок расположения стихов. Такой же принцип использован в из-

дании питерского «Пушкинского фонда» 2003 г., только с выделением не десяти, как здесь, а шести периодов. В «избранном» Рыжего 2004 г. екатеринбургского издательства «У-Фактория» предлагается другой подход: сохранив в целом временной порядок расположения стихов, составители не стали обозначать периодов и поместили раннюю лирику (вместе с неизданным) за зрелыми стихами. Однако творчество Бориса Рыжего, будучи целостным и обладая большим разнообразием, состоявшееся и завершённое, заслуживает того, чтобы к нему отнеслись внимательнее; заслуживает, наконец, отказа составителей лирических сборников от привычной периодизации. Но по-прежнему перед читателем очерчивают границы, вместо того чтобы позволить ему иное восприятие; водят читателя по кругу, вместо того чтобы сопроводить его на глубину.

Том издательства «Искусство — XXI век» повторяет ошибку издания «У-Фактории», где и тогда уже погоня за количеством новых лирических строк Рыжего привела к снижению качества сборника в целом. (В то же время стоит добавить, что избранное «У-Фактории» всё же гораздо полнее даёт представление о творчестве Рыжего, так как, кроме поэтических текстов и «Роттердамского дневника», содержит миниатюры, интервью, письма.) Известный факт творческой биографии Бориса Рыже-

го — огромное количество стихов, которые он писал «для упражнения». Стихи — не продукт, но образ жизни. И как не каждый свой поступок мы хотели бы огласить, выставить напоказ, так и не каждое стихотворение должно быть оглашено и выставлено на оценку. Разделы 1992-1994 в «Кварталах...», на мой взгляд, практически полностью можно было бы изъять. «Пушкинский фонд» в своё время в сборнике, незатейливо названном «Стихи» (он и сегодня кажется мне лучшим), опубликовал ранние лирические произведения, которых вполне достаточно для ориентирования в поэтическом пути, проделанном Борисом Рыжим. Вообще же поэт Рыжий начинается с 1997 года — вот с этого раздела «Кварталов...» мы могли бы получить снова подлинное поэтическое переживание...

Могли бы... Если бы не редакторская работа, особенно в части примечаний. Редакторы (Т. Боднарук и Н. Гордеева) педантично сообщают о том, кто такой Данте и По, Фет и Блок, Овидий и Гомер, Орфей и Феб, Ахмадулина и Евтушенко и т.п. Действительно, откуда знать ценителям современной поэзии (1), читающим Рыжего (2), людям, покупающим увесистый том стихов (3), — откуда знать им, кто такие Фет, Пастернак, Овидий, Фрост и т.д. и т.п. Откуда знать любителям поэзии, что такое анапест, амфибрахий, пеон и цезура.

Особенно же вредно стремление просветить, когда комментатор не совсем, мягко говоря, ориентируется в поясняемом. И дело не в том, что материал примечаний таков, словно книга адресована младшим школьникам, но в том, что эти примечания абсолютно бессодержательны: «Блок Александрович (1880-1921) — русский поэт-символист, драматург»; «Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892) — поэт, переводчик, писатель». Для *понимания* стихов Рыжего между тем совершенно необходимо помнить, *что* значил для него Блок или Фет поэтически. *Что* значили Григорьев, Луговской, Бродский, Рейн, другие — каждый из них. Такое примечание внимательный читатель может составить для себя самостоятельно, собственно через стихи Рыжего.

С другой стороны, недоумение вызывает, когда находишь примечание к поэтической строке или аббревиатуре посвящения в эпиграфе одного стихотворения и не находишь в другом подобном случае. Или когда в примечании допускаются ошибки и чудовищные опечатки. Так, на с. 556 («Роттердамский дневник») год рождения Ольги Славниковой обозначен как 1917-й — вместо 1957-го. А на с. 559, вместо того чтобы дать здесь, может быть, и дельное примечание, редакторы повторяют вслед за Рыжим: «Туренко

Василий» (вместо Евгений) и разъясняют: «автор афоризмов, пишет стихи». В то же время в издании «У-Фактории» (ред. Евгений Зашихин) примечания и вообще гораздо более адекватны, и в конкретном случае это, относительно Евгения Туренко, помещено с особой отметкой, но, судя по всему, редакторы «Кварталов...» изданные ранее сборники в руках не держали.

Непоследовательность в работе с материалом — от первой до последней страницы. На с. 207 («Грустная песня») в примечании даётся вариант строки и оглашается иное название стихотворения, сохранившиеся в архиве. То же самое на с. 353 («Беженцы») или на с. 441 («В обширном здании вокзала»). Зато «Что сказать о мраморе...» (с. 113), выходящее, например, в «Урале» (№8, 2001) в другой редакции, обойдено молчанием. Тем не менее стихотворение в «Урале» (2001) и в «Кварталах дальних и печальных...» (2012) — разные тексты. Вот только две начальные строки:

Что сказать о мраморе —
я влюблен в руины:
пасмурные, милая,
мрачные картины...
(2012)

Что сказать о мраморе —
я влюблен в руины:
пыльные, невзрачные,
странные картины...
(2001)

К тому же существует вариант «люблю руины» (курсив мой — М. Ш.).

Или же вот финальные строки этого стихотворения:

Пью за смерть Денисьевой,
а потом — за Трюю
и за жизнь, что рушится
прямо предо мною.
(2012)

Пью за смерть Денисьевой,
вспоминаю Трюю,
вижу жизнь, что рушится
прямо предо мною.
(2001)

(Курсив мой — М. Ш.)

«Романс» («Мотив неволи и тоски...», с. 428), как и в издании «У-Фактории», приводится без трёх значимых строк (4, 5-я и 10-я строфы — см. изд. «Пушкинского фонда»), с изменениями в 1-й, 2-й и финальной строках. У читателей, любящих и ценящих поэзию Рыжего, знающих это, на мой взгляд, одно из лучших его стихотворений, непременно возникнет вопрос. Но здесь, кроме пояснения, кто такой Саша Верников (обозначенный в посвящении), никаких ремарок не будет.

У книги, помимо двух редакторов, есть корректор. Однако в тексты стихов проникают и чудовищные опечатки. Так, на с. 514 («Бритвочкой на зеркальце гашиш...») в первой строфе вместо «надо жить, и не снимает стресс/алкоголь» читаем: «надо жить, и сни-

мает стресс/алкоголь». На с. 358 («Не забухал, а первый раз напился...») во второй строфе всего лишь вместо единственного числа опечаткой допущено множественное: «Чего я ждал? Пощёчин с размаху/да по виску...» — вместо «пощёчины». Всего-то. Но было заявлено: «В стихах сохранена пунктуация и орфография автора». И что делать читателю, впервые взявшему книгу, — кому верить?

Все эти опечатки, ошибки, ненужные примечания и дефицит необходимых комментариев наводят на грустные мысли. Книга — работа целого издательства — попадёт в руки людей (трёх тысяч — таков тираж — по меньшей мере!). И каждый из трёх тысяч читателей будет обескуражен, неприятно удивлён, испытает досаду и т.д. и т.п.

Но всё-таки, несмотря на всю шелуху, на всё несовершенство, книга несёт на своих страницах стихи Бориса Рыжего. Предыдущее большое избранное, выпущенное «У-Факторией», и томик стихов, изданный «Пушкинским фондом», оказались не во всех алчущих руках, нашли не каждого жаждущего этой поэзии — чистой, что ни говори, и горькой. Закройте глаза на примечания нерадивых редакторов — и читайте стихи. Они важнее всего.

Марта Шарлай

Окно во времени

Роман Мамонтов. *Фоторамка на забытой стене*. М.: Вест-Консалтинг, 2011



Если посмотреть на обложку книги внимательно, видно, что фоторамка на стене — это маленькое окно в прошлую жизнь. Если ещё присмотреться, то можно заметить, как кто-то смотрит на тебя оттуда, из глубин твоей бесконечной памяти. И только обнесенный Богом может утверждать, что прошлого не существует, потому что на самом деле оно так же реально, как и настоящее.

Книга Романа Мамонтова — это общение с прошлым в реальном времени. Ещё недавно по улицам Перми ходили прототипы его героев, которых можно вспомнить по одному описанию, поведению и речи, претенциозной, напыщенной, озорной. Этот слэнг «поколения дворников и сторожей» полон игры, стереотипов и свидетельства тех, кто все ещё живет там, в прошлом тысячелетия.

Книга открывается повестью «Суки-буги-дэнс», в которой рассказывает

ся о компании музыкантов. За внешними проявлениями молодой и не очень устроенной жизни существует главное — творчество, которое держит их в шторме, охватившем в 90-х страну, на плаву и дает какую-то надежду на то, что выбраться на берег удастся. Но и туда, в сферу прекрасного, пролазит скользкое земноводное, которое натянуло на себя блестящую кожу, малиновые пиджаки и вишневые капоты машин. Это менты, избивающие парней дубинками, и коммерсанты, уверенные, что «бабло победит зло».

Начинается схватка за главное и последнее, что есть в жизни — сферу прекрасного.

«Ритм-секция зазвучала холодно и прозрачно. Акустическая гитара отозвалась неторопливым осенним эхо. Несколько аккордов и фортепьяно заискрилось арпеджио, вернее, первыми пушистыми хлопьями снега. Их подхватила балалайка, подбросила вверх и рассыпала по тяжелым ладам бас-гитары. Столкнувшийся звук накатил звонкой волной. В ту же секунду флейта взметнулась над стойкой микрофонов, как подраненная птица. Флажолеты всколыхнули снег, и птица взвилась септаккордом. Ритм-секция на миг умолкла, будто услышала хруст кры-

льев птицы, и торжественно выстрелила в пустоту театральной комнаты. Консоль микшера погрузилась в звук... Теперь они играли не рок-н-ролл — они играли для себя».

Основная тема повести — музыка, а музыка — это игра музыкантов. Но автор продолжает расширять тему дальше, в результате игрой, искусством игры охватывается все пространство прозы, та в свою очередь тоже игра, открывающая нам окно в прошлое, которое оборачивается настоящим, как зеркало, в которое ты глянул — и увидел себя в реальном времени. Становится совсем ясно, что искусство — это искусная игра.

Но за театральной игрой на сцене мы не замечаем, как земноводное осторожно крадется из своего болота и высматривает первую жертву. Вот — высмотрело. Женщина сказала: «Я не решила ещё для себя: есть Бог или его нет». И слова мужчины по прозвищу Розовый: «Судя по тебе — нет». И это после ночи, проведенной вместе. Ответ женщины последовал через страницу: «...ваш лозунг «единственный выход — это саморазрушение» хуже, чем элементарное б...ство!» Музыкант по прозвищу Розовый самостоятельно умрет в конце повести — и девочка окажется права. Как сказал Патрик

Бессон, в обществе волков мы не имеем права быть овцами. Это с одной стороны, а с другой — смерть музыканта выползет когда-нибудь счетом к равнодушному стаду, которое принято называть человечеством. А может, выползет не счет, а все то же торжествующее земноводное в блестящей коже. И будет царить на земле, не страшась ни суда, ни потопа, как делает это сегодня. Но ни одной мелодии не прозвучит в душном, первобытном воздухе над бесконечным и кипящим океаном Земли. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы все и окончательно не решим, есть Бог или нет, хоть какой-нибудь, лучше — из кедра в лесу, но с чувством совести и милосердия.

«Пиццикато выходили жесткими, плотный звук ударял по форточке, которая похлопывала в такт музыкальным долям. Каждую звуковую фразу Розовый заканчивал глассандо.

Для полноты ощущений приглушил свет и включил подсветку. Теперь его не смущали ни маневровые тепловозы, ни родственник, вернувшийся с «малолетки», ни издевки Данила, ни, тем более, блевотина в коридоре общаги мединститута. Его понесло в иные миры. Теперь он был уже не Розовый, он был сплошным звуком, частицей рок-н-ролла».

Роман Мамонтов, инженер по профессии, известен в Перми как поэт и гитарист, игравший в группе «Музыка Народов Нагорья». Конечно, он хорошо знает то, о чем пишет. И хорошо это делает. Единственный, но заметный, на мой взгляд, стилистический недочет автора — использование стереотипных фраз и выражений немного в большем количестве, чем это необходимо для адекватного понимания текста. Это первая книга автора, но, уверен, не последняя, он находится

в расцвете лет — и будущее у него есть, как есть талант и целеустремленность.

За повестью «Суки-буги-дэнс» следует цикл рассказов о детстве и юности, маленькая повесть о счастливых людях «ЛЕСОПИЛЬНЯ. RU» и ещё несколько небольших текстов, в которых чувствуется знание жизни, юмор и доброе отношение к путевым и непутевым героям, каждый из которых, надеюсь, запомнится читателю.

Самое главное, понимаешь, закрыв книгу, что у нас появился писатель с душой, читаешь книгу и улыбаешься, потому что книга добрая. «Но всему приходит конец, и этот конец наступил с первым снегом», как сказано в «ЛЕСОПИЛЬНЕ. RU». Значит, это только конец книги — и начало другого времени, которое мы тоже когда-нибудь разглядим в фоторамке на забытой стене.

Юрий Асланьян

Небесной работы часы

Валерий Возженников. *Черемуха и церковь*. Пермь: Август, 2011



Книга Валерия Возженникова «Черемуха и церковь» поражает беспрецедентной для наших дней нравственной зрелостью, одухотворённой целостностью и гармоничной, человеческой адекватностью. Валерий Леонидович сам успел подготовить этот сборник к изданию,

но, до выхода книги, немногим не дожив до семидесяти лет, покинул этот мир.

Книга «Черемуха и церковь» — достойнейший итог всей его жизни — и творческой и бытийной. В ней практически каждое стихотворение можно назвать программным —

| Выставочный зал | Музей-экспериментариум | Кинопавильон | Сцена | Детская площадка | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 20 июня 2012, среда | | | | | |
| 12:00 – 14:00 | Круглый стол «Гайдар и Пермь» | Максим Котин лекция «И ботаники делают бизнес» | Александр Морозов дискуссия «Чрезвычайное положение в деталях. Джорджо Агамбен о практиках власти» (ведущий – Александр Морозов, основной докладчик – Глеб Павловский). | Издательство «Live books/Гаятри» мероприятие «Кот Саймон» | |
| 14:00 – 16:00 | Игорь Чубаров Презентация сборника новых переводов Вальтера Беньямина «Учение о подобии. Медиаэстетические произведения». | Леонид Юзефович лекция «Современный роман: проект или прозрение?» | Глеб Павловский Презентация книги «Гениальная власть» | Книжный автобус «Бампер» мастер-класс | |
| 16:00 – 18:00 | Андрей Кудрин Гайдар. «Лекция об атамане Лбове» | Rafael Vargas Презентация Антологии русской литературы на испанском языке | Михаил Гиголашвили презентация книги «Захват Московии» | Людмила Петрушевская Детский карнавал/просмотр мультфильмов | |
| 18:00 – 20:00 | Андрей Родионов, Катерина Троепольская, магазин «Пиотровский» Презентация современного переиздания книги Гайдара «Жизнь ни во что» / Автор предисловия, писатель Михаил Елизаров Презентация переиздания книги Аркадия Гайдара «Обрез» | Дмитрий Узланер «Введение в постсекулярную философию» | Елена Трубина лекция «Модели и мутации неолитического города: векторы осмысления» | Сергей Бугаев «Африка» Перформанс «Опера» | Детское издательство «Компас-Гид» мастер-класс |
| 20:00 – 22:00 | Briceida Cuevas и Irma Pineda Santiago Творческая встреча | Владимир Козлов лекция «Нуар-литература» | | | |
| 21 июня 2012, четверг | | | | | |
| 12:00 – 14:00 | Игорь Эбаноидзе презентация книги Лу Саломэ «Эротика» | Татьяна Бубнова лекция «Каково Русскому в Мексике» | Леонид Юзефович творческая встреча | Книжный автобус «Бампер» мастер-класс | |
| 14:00 – 16:00 | Михаил Елизаров творческая встреча | Юрий Сапрыкин «Возможны ли объективные СМИ?» | Михаил Гиголашвили творческая встреча | Издательство «Live books/Гаятри» мероприятие «Пожарное депо» | |
| 16:00 – 18:00 | Михаил Котомин лекция о книгах rareback row (недорогих малоформатных изданиях в мягких обложках) | Сергей Фокин лекция «Секрет «Цветов Зла» (вокруг «Пассажей» и «Избранных писем» Шарля Бодлера) | Круглый стол «Возможен ли единый проект для России?» Участники: Глеб Павловский, Юрий Сапрыкин, Александр Иванов, Александр Морозов, Борис Куприянов, Марат Гельман, Сергей Шаргунов | Детское издательство «Розовый Жираф» мастер-класс | |
| 18:00 – 20:00 | Сергей Шаргунов творческая встреча | Selma Ansira лекция-семинар «Трудности перевода с Русского языка» | Вячеслав Курицын «Слайд-лекция о Набокове» | Детское издательство «Самокат» мастер-класс | |
| 20:00 – 22:00 | Андрей Наследников | Владимир Козлов презентация книги «1986» | Вадим Левенталь лекция «Русская литература нулевых как ответ Виктору Пелевину» | Людмила Петрушевская выступление «Литературного кабаре» | |

Актуальные новости пермской книжной ярмарки здесь <http://permbbookfair.ru/>

Авторы номера

Владислав Дрожащих родился в Перми в 1952 году. Окончил филфак ПГУ (1979). Работает в пермских газетах (с 1980). Участник Первого Всесоюзного фестиваля поэтических искусств «Цветущий посох (Алтай, 1989). Автор книг стихов «Небавоскресенье» (Пермь, 2002), «Блупон» (Пермь, 2002), «Твердь» (Челябинск, Пермь, 2000), «Рифейские строфы» (Пермь, 2004). Печатался в журналах «Юность», «Урал», «Несовременные записки», «Знамя», «Уральская новь». А также в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России». Один из авторов трех томов «Антологии современной уральской поэзии».

Владимир Киршин (род. 1955 год.), писатель, культуртрегер. Живет и работает в Перми. Автор четырех книг прозы, ряда портретных очерков и эссе. Автор и редактор литературного сайта «Пермский контекст». Лауреат краевой премии в области искусства за книгу «Дед Пихто».

Сергей Крюков родился в Перми в 1970 году. Публиковался в журнале поэзии «Арион». В 1997 году вышла книга стихотворений «Граница дня» (Пермь, 1997). Автор текстов песен для пермских рок-групп «Фокс-бенд», «Вершина всего», «Ансамбль молодежной музыки», «Абрам Пятница» и др. С начала девяностых под псевдонимом Сергей Стаканов и Serge Hookman выступает как художник. Активно работает в жанре концептуального комикса.

Ян Кунтур (род. 1970. Пермь) — поэт, прозаик, журналист. Живет и работает в Перми. Проза и стихи печатались в журналах: «Следопыт», «Лабиринт», «Веси» и др. Автор работ по краеведению.

Владимир Лаврентьев родился в 1956 г. в Перми. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Публиковался в журнале «Уральская новь», в альманахах «Пульс-1991», «Пермь третья». Автор книг стихотворений «Город» (Пермь, 1990), «Постоянство места» (Пермь, 2004). Участник первого и второго томов «Антологии современной уральской поэзии» (Челябинск, 1996, 2003). Живет в Перми.

Алексей Лукьянов родился в 1976 году в п. Тохтуево Соликамского района Пермской области, учился на филолога в Соликамском пединституте, после армии сменил несколько профессий, в том числе работал кузнецом. Публиковался в журналах «Уральская новь» и «Октябрь». Лауреат Новой Пушкинской премии (2006) за повесть «Спаситель Петрограда» в номинации «За новаторское развитие отечественных культурных традиций». Автор книг «Спаситель Петрограда» (СПб: Афмора, 2008) и «Глубокое бурение» (М.: Снежный Ком М, Вече, 2010).

Сергей Сигерсон (наст. фамилия Панин), лидер поэтического объединения «ОДЕКАЛ» («Общество детей капитана Лебядкина»), созданного в конце 1980-х в Перми.

Екатерина Симонова — родилась и живет в Нижнем Тагиле. Окончила филологический факультет Нижнетагильского педагогического института. Публиковала стихи в антологиях «Современная уральская поэзия: 1997-2003» «Современная уральская поэзия: 2004-2011», «Братская колыбель», «Ле Лю Ли», журналах и альманахах «Воздух», «Вавилон», «РЕЦ», «Уральская новь», «Урал», «Транзит-Урал», «Стетоскоп» и др. Выпустила три книги стихов: «Быть мальчиком» (2004), «Сад со льдом» (2011), «Гербарий» (2011). Неоднократно становилась лауреатом фестивалей актуальной поэзии Урала и Сибири «Новый Транзит». Победитель турнира поэтов «Естественный отбор» (Екатеринбург, 2002), Большого уральского поэтического слэма (Екатеринбург, 2009). Номинатор Премии «ЛитератураРРентген».

Сергей Тетерин — медиахудожник, куратор, писатель. Родился в 1969 году в Перми. В начале 90-х основал Секту Руркаманов и был участником объединения поэтов ОДЕКАЛ. Автор ряда медиаарт-проектов, самые известные из которых — «Главные желания XXI века» (1999-2001), «Кибер-Пушкин 1.0 бета» (2002), «Кино-мясорубка» (2004), «Поэтофон» (аппарат для астральной связи с русскими футуристами Бурлюком, Каменским, Маяковским, Крученых, 2010). Соорганизатор и автор фестивалей Read Me (2002), Machinista (2003-04), директор галереи видеоарта VideoТочка (2006). Автор книг «Двойняшки — пермский оракул» (2000) и «Электронная мифология» (2005). Живет и работает в Перми.

Павел Чечёткин (род. 1978, Пермь) — поэт, культуртрегер. Автор книг «Павел и Анна» (совместно с А. Павловской), «Небесный заяц». Публиковался в журналах: «День и Ночь», «Знамя», «Континент», «Урал», «Уральская Новь» и др., в сборниках «Дикороссы. Приют неизвестных поэтов», «Антология уральской поэзии». Лауреат премий: «Триумф», премии памяти Ильи Тюриня, премии им. Мерзлякова.

Александра Шиляева родилась в посёлке Балезино Удмуртской республики. В 2005 году с семьёй переехали в Пермь. В 2007 семья не стало. Стихи пишет с восьми лет. Заканчивает школу. Публикуется впервые.

Леонид Юзефович (род. 18 декабря 1947, Москва) — писатель, сценарист, историк. Детство и юность прожил в Перми. Сейчас живет и работает в Москве. Автор книг: «Клуб «Эсперо», «Самодержец пустыни», «Триумф Венеры», «Знак семи звёзд», «Дом свиданий», «Костюм Арлекина», «Князь ветра», «Песчаные всадники», «Казароза», «Журавли и карлики» и др. Автор сценариев к фильмам: «Казароза», «Гибель империи», «Сыщик Путилин», «Ораниенбаум. Серебряный самурай» и др. Лауреат премий: «Большая книга», «Национальный бестселлер», финалист премии «Русский Букер».

Поддержка проекта была осуществлена Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2012. — 128 стр.

Редактор:
Павел Чечеткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Издатель:
Борис Эренбург

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Дарья Блажко

Корректор:
Анна Лукьянова

Фото:
Евгения Изварина (стр. 107)
Иван Козлов (стр. 96-99)
Из архива Семена Соснина (стр. 100)

Иллюстрации:
Андрей Побережник из цикла «Пленэр в Губахе, осень 2009» (обложка, стр.7, 11, 18, 23, 32, 43, 78, 80, 90)
Вячеслав Остапенко «Портрет Сергея Крюкова» (стр. 68)

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу: senator@permplanet.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator@permplanet.ru

© «Вещь», 2012

© Авторы, 2012

© Издательство «Сенатор», 2012

